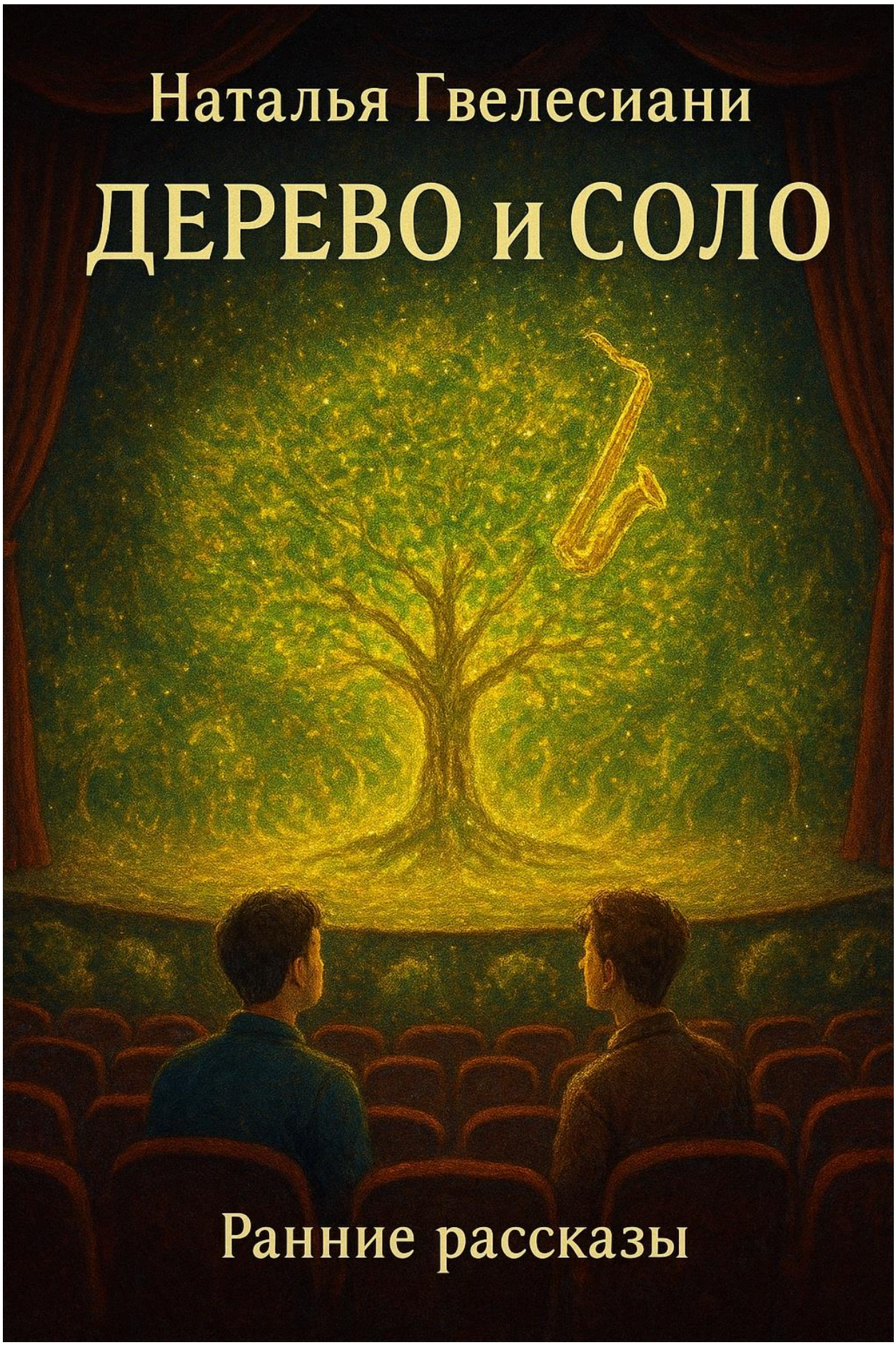
Наталья Гвелесиани
ДЕРЕВО и СОЛО
Ранние рассказы

Наталья Гвелесиани

Дерево и соло

Ранние рассказы

Тбилиси, 2025

Аннотация

В сборник вошли ранние рассказы и миниатюры, объединенный темой поиска смысла жизни, который обретается во внутреннем Свете.

Об авторе

Гвелесиани Наталья Александровна. (По паспорту – Гвелесиани Натэла Сандроевна). Род. в 1967г. Окончила филологический факультет ТГУ им. И. Джавахишвили. Пишет прозу и эссеистику.
Лауреат литературной Премии им. Марка Алданова (за повесть "Уходящие тихо"- Новый журнал N247,2007). Публиковалась также в журналах "Нева" (роман "Мой маленький Советский Союз" - в сокращении, отрывок романа "Новая сказка о Гайдаре" под названием "Сказка о Гайдаре", повесть "Пустите детей и не препятствуйте им"), "Уральский Следопыт","Футурум АРТ", "Новая реальность". Автор книг "Путь неприкаянной души (О Марине Цветаевой и не только)" - (Ставрополь, издательство "Ставролит", 2013г), "Выход Алисы из Зазеркалья" (серия 'Психология') - (Москва, издательство "Велигор", 2015г). 'Мой маленький Советский Союз' - полная авторская версия. (Москва, издательство "Рипол-Классик", 2016).
Автор литературно-критических статей о творчестве М.Цветаевой, М.Горького, А.Гайдара, В.Крапивина, , а также статей о христианстве в современном мире.
Интересуется религиоведением, философией, психологией.
Автор диалектического метода толкования Библии (см. сборник "Взирая на Христа").
Автор «Нового Завета в художественном переводе» (в 3-х книгах).
Также является автором оригинальной гипотезы о причинах некоторых форм аутизма (изложена в статье "Аутизм и инстинкт сохранения целостности"; в книге "Выход Алисы из Зазеркалья", также - наиболее полно - в статье «Аутизм и гештальт целостности»).
С помощью НейроСети, согласно этим новаторским взглядам не только на природу аутизма, но и природу человека вообще, автором были созданы новаторские пособия "Введение в Целостную химию для гуманитариев", "Целостная органическая химия", «Краткий словарь химических терминов для гуманитариев».
Живет в Грузии, в г.Тбилиси.

От автора:

Все мои литературные, научные и иные произведения распространяются под авторским именем (псевдонимом) “Наталья Гвелесиани” или "Гвелесиани Наталья Аоександровна", при том, что моё настоящее имя по документам — Гвелесиани Натэла Сандроевна.

Произведения на этой авторской странице и на других ресурсах, все изданные и не изданные произведения и книги, кроме тех, что были изданы под иной лицензией и срок иной лицензии еще не истек, распространяются и должны распространяться в будущем, в том числе по истечении срока иных лицензий, по данной лицензии:

© Наталья Гвелесиани, 2025
ORCID: 0009-0006-7898-9156
https://orcid.org/0009-0006-7898-9156
DOI: 10.5281/zenodo.17667507
https://doi.org/10.5281/zenodo.17667507

Авторская лицензия:
© Наталья Гвелесиани, 2025.
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
Это произведение распространяется по лицензии
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
Разрешается свободное распространение, копирование, цитирование, а также создание производных произведений (переводов, инсценировок, экранизаций и т.п.), при условии обязательного указания имени автора и сохранения этой же лицензии в производных работах. Лицензия бессрочная и не подлежит отзыву. Полный текст лицензии:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ru

© Natalia Gvelesiani, 2025.
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
You are free to share, copy, distribute, and adapt this work (including translations, performances, and film adaptations), provided that proper attribution is given to the author and that derivative works are distributed under the same license.
This license is perpetual and irrevocable.
Full license text: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Содержание

Шесть смертей. *Рассказ*
Знакомство. *Рассказ*
Дерево и соло. *Рассказ*
Круговорот. *Рассказ*
Цветы бывают разные. *Миниатюра*
Ангел!.. *Миниатюра*

ШЕСТЬ СМЕРТЕЙ

В N-ном году по N-ной причине на провинциальный N-ский город большого N-ского государства пала звезда Полынь. И родились на N-ской земле шесть богатырей...

1. **Человек, который все помнил**

Жил в N-ском городе Человек, который обладал уникальный памятью. Мозг его напоминал магнитофон, в котором отсутствует стирающее запись устройство. Впечатления, оседающие в извилинах его мозга, никогда не стирались. Не стирались даже в том случае, когда на них наслаивались впечатления новые.
Если бы кто-либо из обыкновенных людей, живущих с обыкновенным гармоничным склерозом прослушал бы кассету его памяти, он наверняка бы лишился рассудка, пораженный невообразимо волнующей многоголосицей, которая словно переливалась россыпью всевозможных драгоценных камней, ни один из которых не потерял со временем своего блеска.
Но Человек был рожден так изначально, и он как-то приспосабливался до поры до времени к своему существованию.
Однако память Человека все же обладала некоторой избирательностью. Как и всякий Человек, ярче всего он помнил те события своей жизни, которые связаны с Любовью и Смертью.
Только в отличие от других, он помнил все сразу, без перерывов и выпадений. Линия Его памяти шла по кругу и не имела свойства пунктирности. Он помнил - одновременно - как протягивала к нему, смеясь, руки - первая его любовь - мама, и как дьявол стягивал ее с постели в могилу. Перед его взором вечно стоял маленький холмик с многочисленными каменными памятниками вокруг, которые он заказывал разным скульпторам и менял каждую неделю на родной могиле.
Менял он памятники и на других могилах, где лежали люди не столь ему родные, зачастую лишь однажды им виденные. Но раз уж он успел их запечалеть, значит, помнил.
Так жил этот памятливый человек, работая лишь для того, чтобы откладывать заработок на памятники и цветы.
А цветы предназначались для любимых.
Любимых иногда лишь мельком, но навсегда. Он рассылал их еженедельно в самые различные уголки города и не писал обратного адреса.
Однако с каждым годом любимые и умершие откладывались в шкатулку его памяти во все большем и большем количестве, и Человеку становилось все труднее работать во имя несоразмерно возрастающих расходов. Зарплата его едва поспевала превращаться в цветы и памятники.
Человеку стало трудно дышать. Разболелось сердце.
Человек пошел к кардиологу, снял кардиограмму и услышал, что его предсердия расширены, словно карманы. Когда в радиусе его проживания умирает некий другой человек, то он, Человек, укладывает воспоминание (либо фантазию) о его душе в левое предсердие. И в этом случае левое предсердие становится шире правого. Для того же, чтобы сердце не увеличивалось столь непропорционально, Человеку нужно в целях компенсации заполнить правое предсердие любовью к какому-нибудь очередному человеку. Если человек всегда будет придерживаться этого правила, то ему удастся сохранить еще некоторое время источенные памятью стенки сердца.

- Только помнипте,- добавил кардиолог,- чтобы питать кровью столь огромное сердце, вашим желудочкам приходится лихорадочно сокращаться в темпе allegretto. С годами сердце будет стучать все громче, тахикардия нарастать с неудержимым упорством, и темп вашей жизни станет замедляться. Вы просто не сможете передвигать ноги от слабости. Может быть тогда-то вы вспомните о себе и спасетесь, забыв о других. А не угодно ли вам сходить и нейрохирургу и сделать операцию на головном мозге? Может быть, ему удастся вставить в ваш "магнитофон" недостающую кнопку?
Но Человек был рожден помнящим и он не мог представить себя иным. Поэтому он вежливо отказался.
Предсказания кардиолога сбылись: сердце болело и билось все чаще, он передвигался все медленней, но память о любимых и умерших не прекращала свой рост.
Правда, надо сказать, что каждая новая любовь поначалу казалась ему, как и всякому человеку, самым свежим алмазом в его ветхой шкатулке, но когда человек привыкал к его блеску, старые привязанности выскакивали словно изголодавшиеся звери и шли на него, одинокого, все разом.
Каждая новая потеря казалась поначалу самой больной. Но она же, каждая новая, вытаскивала за собой на хвосте все старые: все вместе, одним скопом. Человек задыхался.
Так, задыхаясь однажды, он пошел на исповедь к священнику.
- Еще один любимый человек, и вы приблизитесь к всеобщей божественной Любви,- промолвил восхищенный священник,- войдете в сонм святых. Вы будете первым из живых, которого мы канонизируем при жизни. К тому же вы еще и самый верный из скорбящих.
Человек помнил вторую свою любовь - маленькую девочку Аурику, с которой он, играя в песочнице, придавливал маленькими камешками, крылья пойманных ею бабочек, и бабочки ползли по песку как тракторы, силясь скинуть с себя груз беспощадных шуток Человека.
Человек помнил множество других девочек, девушек и женщин.
И вот на горизонте показалась высокая улыбающаяся женщина с букетом свежих одуванчиков в левой руке.
Юная и зрелая одновременно, она нежно помахала ему, незнакомцу, свободной рукой. Рукой, которую ей впервые поцеловал в тот день любимый.
Сердце Человека переполнилось небывалой теплотой. Он помнил ее, ту первую девочку из песочницы...
Он сделал два шага вперед, остановился, увидев похоронную процессию, сделал еще два шага; опять остановился, упал и умер.
Сердце Человека не выдержало и разорвалось.
Так как вскрытие не производилось из-за того, что у человека не было ни одного близкого родственника или друга, кардиолог так и не узнал, какое именно из предсердией лопнуло первым.
А тот священник, который пророчил ему место в сонме святых, покачал головой и сказал: "Не смог слабый человек возлюбить человечество".
Человека похоронили и через 40 дней забыли.
Будет ли он канонизирован, читатель узнает через N-ое число столетий.

II. **Человек, который все слышал**

В том же N-ском городе, только на другой его окраине, жил еще один причудливый Человек. Сей Человек был лишен от рождения обоняния и дьявол даровал ему в целях компенсации обостренное чувство слуха. Человек слышал

не только то, что говорится в его присутствии, но и то, что говорят о нем и о всяких других людях в периоды их отсутствия. Человек слышал сквозь стены, улицы и города. Только смеющееся над ним Небо он как ни старался, но подслушать не мог. По доброй воле Бога, Человек был сапсен от возможности слышать и понимать еще и голоса природы.
Только он появился на свет, как услышал ласковый голос мамы: "Ой, какой же ты уродец!"
"Фу, какой уродливый!" - сказал позже папа. А нянечка дополнила: "Да он жн у вас недоношенный!"
Человек ничего не понял, но слово вошло в уши и стало плотью.
Плоть Человека стал раздирать комплекс неполноценности.
Шел он по улице, словно расставив две зайцеушеподобные антенны над простыми по форме человеческими ушами и слушал, что говорят о нем и о всяких других людях за стенами, замками, городами да весями.
Он слышал, как два его друга, с которыми он душевно беседовал полчаса назад, разбирают по косточкам его душу.
Каждый из двух товарищей стремился выхватить косточку побольше, чтобы именно ему можно бы было подольше молоть зубами, одновременно их оттачивая.
Когда все большие кости добросовестно перерублены, перемолоты, переварены и спущены в унитаз, два друга остаются наконец довольны той кишкоподобной формой, которую они придали его беспризорной душе.
Человеку было тяжко, но от черной меланхолии его спасал до поры до времени все тот же божественно-дьявольский слух. Он слышал, что говорят о тысячах и миллионах таких же неполноценных другие неполноценные. И то, что говорит о другой неполноценной половине человечества первая его неполноценная половина, а вторая половина о первой, было похоже, как две капли воды.
Всякий человек мог поставить перед собой зеркало и ругать, глядя в него, человека другого. Это и было то, что говорил о нем всякий другой человек.
Человеку с одной стороны было забавно, а с другой - горько. Потому что, как и всякий человек, он более всего прислушивался к тому, что говорят именно о нем. А так как в него от самого старта жизни был заложен комплекс неполноценности, то человек пропускал мимо ушей слова хвалы и впускал слова хулы.
Сам он других людей никогда не ругал, так как боялся, что его услышат.
Из этих же опасений Человек никогда не предавался вслух самокритике, хотя постоянно занимался втихомолку самокопанием.
Если крупные косточки его души переваривали, придав ей определенную форму, приятели, то мелкими занимались мама с папой. Они прямо-таки растирали их в зубной порошок.
- Представляешь,- слышал Человек из-за стены голос мамы,- он никогда не моет руки перед обедом!
- И редко чистит зубы,- добавлял папа.- Он что, не чувствует, какой от него исходит запах?
А Человек действительно не чувствовал...
Обидившись на тайные речи всегда деликатных в обращении с ним родителей, он замкнулся от них и стал по нескольку раз в день принимать душ и жевать, словно младенец, известку, индийскую заварку, так как услышал от соседа за потолком, что пережевывание сухой заварки помогает избавиться от неприятного запаха изо рта.
Так Человек лечил зубную боль души.
- Он что, йогом сделался? - вопрошали за дверью родители.- Надо проверить круг его знакомств.

Чтобы его не проверили, Человек петлял по жизни как заяц.
В школе ничего не понимали.
- Вроде способный,- говорили на педсоветах,- а учится кое-как. Может он не такой уж и способный? Выше, конечно, среднего.Но никак не выше высшего. Может все оттого, что он такой некоммуникабельный? Надо подсадить к нему какого-нибудь мальчика. Или девочку. Нет, лучше пока мальчика.
Человек прыгал с парты на парту как заяц, чтобы к нему никого не подсадили. Ведь он на самом деле не был тем зайчиком, к которому можно подсадить кого попало. А собственный выбор Человек сделать боялся: бог знает, что скажет о нем свежий товарищ.
- Я так молод, а уже умираю,- услышал он однажды голос своего ровесника из другой половины города.- Ну вылечите меня от этого рака! Я вас очень прошу. Ну, пожалуйста!
Человек стал бояться не только абстрактной смерти, но и вполне конкретных раков, скорпионов (в том числе и знаков Зодиака), жуков, бабочек, ящериц и других мелких тварей.
Крупных он пока не боялся, так как городской зоопарк закрылся в то время на ремонт.
Так он рос с животным страхом смерти без товарищей, толковых родителей и педагогов и никому не признавался в своем таланте слышать, боясь, что его обвинят в подслушивании.
Но однажды, будучи уже 19-летним юношей, Человек услышал:
- Какой он задумчивый, этот Рыцарь печального образа. Он, должно быть, красивый внутри...
Слова эти пробормотала себе под нос, глядя на него с третьего этажа, низенькая белокурая девочка лет восемнадцати. В веснушчатом ее лице Человеку почудилось нечто до боли полноценно неполноценное, и эта здоровая неполноценность ему понравилась.
- Волосы у него простые, как земля,- продолжала девочка,- а голоса почему-то совсем нету. Даже если он не мой, он хороший.
Услышав слово "немой", Человек немного насторожился.
- Вот только говорят, что такие мужчины мало что умеют в первую брачную ночь. Его притягательное телосложение слишком астенично для грубости.
Услышав это, Человек совсем умер как полноценный человек.
Следующим утром он получил цветы от Человека, который все помнил. Человек, который все помнил, увидев мельком Человека, который все слышал, полюбил его и молча включил его адрес в список конечных пунктов расфасовки цветочных букетов.
Увидев букет, Человек, который все слышал, решил, что люди заранее подстраивают ему похороны.
Он пошел к психиатру и все рассказал.
Психиатр предложил Человеку отдельную палату, что от него, психиатра, и требовалось.
Теперь то человечество не дотянется до его ушей своими речами. А если и дотянется, то его самого не достанет за стальными прутьями.
Только Человек так подумал, как услышал голос Консилиума в ординаторской:
- Невроз ожидания, раз. Фобический невроз, два. Мания преследования, три. Навязчивости с галлюцинациями, четыре. Думаем, надо подключить к нему кроме массивной лекарственной терапии и иглоукалывание. Кстати, одна из точек, воздействующих на центральную нервную систему, находится в правом ухе. А если он левша, то в левом. Мы тут сами время от времени колемся.
Голоса докторов слились в один гул, к нему прибавились голоса обезумевших

от горя родителей, голоса засуетившихся соседей, окаменевших педагогов... множество других голосов. Все это стало походить на кошмарный писк телевизора, когда его включают в перерыв.
- Выключите телевизор!- закричал Человек.
Его не послушали...
- Выключите! Выключите! Ну, выключите!..
Человека никто не слышал и не слушал.
Тогда сосуды его мозга не выдержали давления гула на ушные перепонки и лопнули. Произошло кровоизлияние в мозг, и Человек умер.
Уши умершего Человека на всякий случай заспиртовали, чтобы показывать будущим медикам и приговаривать при этом наставительно: "Видите: простые человеческие уши среднего размера. А он утверждал, что они длинны, как у зайца, и, вроде бы, все слышат".
Но один практикант все же поверил бывшему Человеку. Он пошел не в психиатры, а в ухогорлоносы и стал изучать устройство уха Человека, чтобы разработать подобную модель и внедрить ее в интернатах для глухих и слабослышащих детей.
Может быть, глухие при ввинчивании в их пустую раковину хотя бы одного уха Человека, будут слышать только то, что положено слышать всякому нормальному человеку?
Однако у ухогорлоноса ничего не вышло, так как он не знал, что для того, чтобы обострить либо заиметь чувство слуха, нужно лишиться обоняния...

III. **Человек, который все видел**

В злополучном N-ском городе, который продолжал оставаться всего лишь N-ским, несмотря на то, что в нем проживали некоторые весьма необыкновенные люди, жил еще один загадочный человек.
Не всякий житель N-ского города был загадочен по натуре, но те, кто ими были, жили там скрытно, а умирали так явно, что город не был даже внесен на политическую карту мира, ибо кому нужно государство, славящееся своими весьма загадочными смертями.
Жил этот еще один загадочный человек в некой очень богатой семье. Жил, и все видел.
Возможно, что обилие людей с однобоко гипертрофированными органами чувств или мыслей объяснялось упавшей в N-ом году на землю звездой "Полынью". А может быть, всему виной была решительная планета Марс,- покровительствовавшая городу в момент его основания.
Во всяком случае, первое, что увидел, родившись Человек, который все видел, было богатство родной семьи.
Когда он впервые встал с золотого горшка и осознал, что он не жестяной, как у большинства всяких других детей, а именно золотой, он хмуро спросил: "Почему?"
- Потому что я работаю для тебя, деточка - ответил папа.
- Да, но ведь мама не работает?
- Зато мама работает на тебя, деточка.
- Но ведь я не плачу вам всем зарплату.
- Когда-нибудь, деточка, мы все будем жить на твою зарплату.
Человеку, который все видел, весьма все это не понравилось. Он так сосредоточил свой взгляд на этом факте, что перестал видеть все, что происходит за пределами дома. Но зато он видел все, что делается в семье. Человек видел и записывал то, что видел.

Когда собралась целая тетрадь доказательств, Человек озаглавил ее "Детективом" и отослал в местную редакцию с просьбой поручить дело Шерлоку Холмсу.
"Шерлок Холмс" пришел к папе на работу, заперся с ним в кабинете, показал "Детектив" и потребовал его покупки.
Затрепетавший папа с удовольствием выкупил первое художественное произведение сына.
Однако с этих пор из дому исчезли все золотые столовые принадлежности, игрушки, а также разные вкусные блюда.
Домашние вещи перестали захламлять взгляд Человека, который имел свойство засматриваться в одну точку и глаза Человека наконец выдвинулись в городской мир.
Он вышел из ворот родного дома и увидел на противоположной стороне улицы светофор.
Светофор бездействовал.
Сколько Человек ни мигал ему, все три глаза светофора оставались потухшими. А люди пользуясь его сном, шли себе гуртом через дорогу, не спрашивая разрешения у машин.
Человек, который все это увидел, покачал головой и назло всякому другому человеку пошел в подземный переход. А в подземном переходе сидел нищий. В ногах его лежала фуражка без дна. На том же месте, где должно было быть дно, валялась мелкая мелочь и четверть булки хлеба.
- Почему у тебя фуражка без дна? - спросил Человек.
- Фуражка - это символ.- Ответил нищий.- Я прячу ее потом за пазуху, а мелочь кладу в карман. Будь добрым человеком, дай нищему на пропитание.
Но разве может Человек, который видит от рождения только одно из всякой всячины, быть добрым? У Человека, который все видел, был несколько притуплен слух, и он не интересовался, в отличие от предыдущего героя, тем, что говорят о нем окружающие.
- А почему ты сам на себя не работаешь? - грозно спросил он.
- Потому что я болен, а пенсии на жизнь не хватает.
- Почему же ты не пойдешь в дом инвалидов?
- Потому что меня туда не возьмут, я не почетный инвалид.
- Значит плохо ты работал до того, как заболел.
- Некоторые всю жизнь не работают, а чай пьют из золотых ложечек.
Человек, который все видел, уже отошел от нищего на несколько шагов, когда эти последние слова его остановили. У Человека возникла цепь ассоциаций. Он догадался, что когда он сидел малышом на горшке, нищий старик работал на него, Человечка.
Над Человеком воссияла красная звезда Марс.
Он должен вернуть нищему старику его зарплату. Отныне он посвятит свою жизнь возвращению и тем самым смоет свой первородный кал, прилипший к донышку золотого горшка.
Только неужели же он, честный человек, Человек, который все видит так, как должно быть, станет возвращать деньгами? Нет, он будет приносить нищему книги, дарить ему пластинки с классической симфонической музыкой, осыпать его билетами в театр. Он будет эстетически просвещать последнего, чтоб тот не думал, будто главное в жизни - золото.
Человек, который все видел, всегда исполнял то, что задумывал. Он добросовестно перетаскал старику половину отцовской библиотеки, треть маминых пластинок, одел его в собственный костюм. И однажды, только однажды, дал денег на баню.

Старик расцвел и поправился. Фуражка его превратилась в круглую шляпу с двойным дном. Глаза старика блестели, как новенькие монеты Человек, который все видел, весь так и переливался музыкой Баха.
Однажды, весь сияя, он отправился, вопреки своим правилам, на черный рынок, чтобы купить у ненавистных спекулянтов какую-нибудь назидательную книгу для старика. Протянул он руку за одной из таковых и с изумлением обнаружил на первой странице печать отцовской библиотеки.
- Откуда у вас моя книга?! - закричал он торговцу. Испуганный торговец тут же выдал данные:
- Я ее у старика из перехода купил. Он у нас поставщиком работает. Может, и пластиночки ваши? И билетики театральные? В жизни не подойду к этому старику, только не трогайте.
Человек, который все видел, молниеносно все понял. Он вышел шатаясь, с рынка, сел на камень, распахнул ворот нейлоновой рубашки и расплакался по-мальчишески.
Когда слезы очистили его от грязи рынка, он пошел к подпольному врачу-гинекологу, которого давно держал на примете.
- Сделайте меня слепым,- сказал он глухо,- не хочу больше видеть.
- Да ты что, мальчик...
- Сделай меня слепым, я тебя арестовать хотел.
Человек увидел на столе у доктора раскупоренный флакон с соляной кислотой, быстро схватил его и плеснул себе в глаза.
Наступила жгучая темнота.
- Мама! - закричал он.- Что я наделал!Я хочу тебя видеть. Солнце, мое золотко, где ты?!
Доктор стоял на месте как загипнотизированный. А Человек, который больше не видел, шагнул в окно за солнцем, упал вниз и разбился.
Несмотря на то, что большая половина его наследства была поделена между "Шерлоком Холмсом" и стариком, родителям Человека удалось организовать приличные похороны.
Английскую скрытность процессии смешал только на несколько секунд эпизод смерть Человека, который все помнил.
Бывший Человек, который все видел перебежал дорогу Человеку, который все помнил. Иначе бы на могиле всевидящего Человека непременно бы еженедельно обновлялись памятники.

IV. **Человек, который все понимал**

Красивый душой Человек жил в N-ском городе. И красиво умер.
У Человека этого не был гипертрофирован тот или иной орган мысли или чувства. Напротив, все органы, вырабатывающие мысли-чувства, были развиты равномерно-равномерно, будто их хорошенько отгладили утюгом.
Поэтому Человек все понимал. А понимая - принимал. Принимая - прощал, и так далее, до самой кончины.
Родившись, Человек понял, что нельзя огорчать выжатую как лимон маму, и не стал кричать. Его принялись тормошить, хлопать ладонями по спине. Мама широко раскрыла свои переполненные болью глаза, он посмотрел в них, понял и закричал.
Но это был единственный крик в его короткой жизни. Маленький Человечек не кричал даже в том случае, когда хотел отпробовать грудного молока, так как понимал, что маме будет больно. Поэтому неприхотливого Человечка кормили по часам, невзирая на его внутренние запросы.

Человек рос худым и никогда не кусал маму в грудь.
Когда Человеку попадалась на глаза жаба, он, услужливо подставив ей ладонь, помогал жабе уютно на ней расположиться и говорил:
- Сырая ты моя, как я тебя понимаю. Холод пронизал все твои косточки. Дай-ка я подую на тебя и согрею тем самым своим дыханием.
Он начинал горячо дышать на жабу, поднеся его к самому рту. Дышал и понимал, что сердце жабы бешено колотится от наплыва нежных чувств. Когда от глубокого дыхания в глазах Человека появлялись мушки, он, пожалев о том, что не может поделиться с жабой, милостиво опускал последнюю на землю.
Человек поворачивался на 180 и шел дальше, а жаба, сделав два-три прыжка, внезапно погибала. Всепонимающий же Человек никак не мог понять одной загадки: почему у него после нежного общения с жабой переставало болеть горло? Он не знал старинного способа лечения ангины*, так как знание ему заменяло понимание. Знание не вырабатывается тем или иным органом мысли или чувства, оно привносится извне, а когда человека прогладили горячим утюгом, он решил, что гармония похожа на сверхвыравненную на газонах траву, а разве траве, чтобы расти и выравниваться, нужно знание?
Когда же непонимающие мальчишки, поймав некую другую жабу и, надув ее, пускали вскачь как мячик, Человек кротко поднимал глаза к небу и говорил:
- Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят. Пойми, им хочется играться, они еще не созрели до понимания чужой боли, ибо не почувствовали ее на себе.

*Примечание
Жабу подносят близко ко рту и некоторое время дышат на нее, после чего боль в горле постепенно проходит. Животное же вскоре погибает.

Сам он перечувствовал невероятное количество боли, когда его кусали собаки в промежутках между тем, когда он их гладил.
Как понимал понимающий Человек нищего старика из подземного перехода, который продавал книги, подаренные ему неким сочувствующим человеком! Он чуял недонасыщенным во младенчестве желудком, что старику нужно кушать, а знанием сыт не будешь. Но одновременно Человек понимал и Человека, осыпающего нищего интеллектуальными подарками. "Каждому - свое,- думал Человек,- у кого - желудок, как голова, а у кого голова, как желудок".
Пусть они все живут.
Пусть себе светофор мигает, когда ему вздумается, а пешеходы переходят дорогу, когда им захочется. Пусть сердятся водители. Все равно они потом остынут. А если кто-то попадет под колеса...
- Господи, пойми этого Человека,- он спешил. Не наказывай водителя. А погибшего верни через N-ское число столетий на этот же перекресток,- он сразу пойдет в переход. И еще нищему в шляпу кинет одно из райских твоих яблочек. Пойми это, Господи.
Сидя в школе за аккуратной своей первой партой, Человек никогда не поднимал руки, так как понимал, что может заглушить своей смелостью робкие ростки знаний некого другого человека. Подсказывая, он глядел на учителя таким жалобно-понимающими глазами, что учитель отводил взгляд в сторону и переставал слышать.
Отправляясь за покупками в магазин, Человек никогда ничего не выбирал, так как все казалось ему ладно скроенным и крепко сбитым. А если кое-что все

же и оказывалось неладным, то он умудрялся как-то приладить его к себе. "Если некий другой человек сделал что-то неладное, значит, у него что-то не ладилось",- думал он.
И вот однажды, будучи уже юношей, отправился Человек, который все понимал в зоопарк, чтобы посмотреть, как понимают друг друга столь разные люди и звери, а если они почему-либо не ладят друг с другом, то он, понимающий, научит их пониманию.
Оказался понимающий Человек у клетки с тигром. А тигр желудочно рычал и посматривал на Человека обессиленными глазами. Утром директор зоопарка разделил его порцию мяса между собой и своими соратниками и закатил сногсшибательный пир. В воздухе до сих пор витал, как поводок у горла, дымок утреннего шашлыка.
Человек понял, что директору с сотрудниками захотелось отдохнуть. Но он понял и то, что тигру хочется кушать. А мясо в кормушке тигра отсутствовало. Правда, оно присутствовало в кормушке шакала, но разве можно урвать от пищи некого другого животного, чтобы накормить первого? Но возможно ли оставить без пищи кровного брата царя зверей?!
Тигр, прижавшись к полу клетки как Мурка, сладко зевнул.
- Мясо ты мое, - напряженно сказал он Человеку.
- Я мясо, мясо...- мягко отозвался Человек.
Ему очень хотелось жить, но он понимал, что нельзя.
Человек открыл клетку и шагнул в пасть тигра.
Событие это было отмечено в местной газете заметкой под заголовком "Шутник N-ского города, или оригинальный способ самоедства".

V**. Человек, который все чувствовал**

Лежал он в своей кроватке маленькой и блаженствовал. Тело млело и пело. Тело жаждало укола.
Человек раскашлялся и расплакался во все легкие. Пришла мама и всадила ему укол от воспаления легких.
Боль от иглы показалась вкусной, как хрусталик мороженого. Но тем не менее Человек рассвирепел и укусил маму за палец. Кровь ее была солоновата, как свежевыдавленный помидорный сок в салате.
Мама, рассердившись, нежно ударила Человека по губам и сразу огорчилась, так как Человек вновь расплакался, хотя удар, ему весьма понравился.
Когда мама вышла, Человек встал как середину кровати и задумался: "Да что же он такое, в самом деле, садист или мазохист?" Как уже догадался Читатель (а если не догадался, то уж точно заметил), у большинства N-ских жителей чувства отличались полярностью и обобщенностью. Поэтому Человеку не пришло в голову спросить себя: а не является ли он некрофилом, гомосексуалистом, нарциссом и т. д.
Все оттенки этих весьма противоречивых чувств и состояний он свел к двум основным понятиям: садизм или мазохизм? мазохизм или садизм?
Человек выпрыгнул из кроватки и, запрыгнув в седло скаковой лошади, помчался по кругу...
Он решил проверить себя конным спортом. Лошадь неслась, захлебываясь розовой пеной, а он ввинчивал и ввинчивал ей в бока шпоры.
Тогда лошади пришлось, взвившись на дыбы, сбросить его из седла. Человек упал на дно высохшего колодца и очень рассердился, когда его вытащили.
Он пошел в город и, проходя через подземный переход, целенаправленным ударом ноги зафутболил на потолок звенящую шляпу нищего. Потом долго

прыгал, как пес, чтобы опустить ее вновь на пол.
Выйдя из подземки на солнце, он прошел в полуметре от млеющего на солнце воробья. Прошел метра три и, удивившись смелости птицы остановился. Развернувшись, пошел на воробья. Шел до тех пор, пока птица не улетела. Потом просто продолжал идти в том направлении, которое указала ему птица. Шел - и зашел, не вытерев ног, в песочницу, где играла девочка. Девочка строила песочные домики, наполняя и наполняя ведерко новыми порциями песка. Человек прошелся по ни и сделал равнину. Девочка расплакалась.
Что-то кольнуло в сердце Человека. Но кольнуло не больно. А когда ему было по-настоящему не больно, Человек никогда не радовался чужой боли.
Он опустился на колени и молча слепил заново все разрушенное.
Больше в тот день он никого не трогал. Лежал на диване у телевизора и думал: мазохист он или садист? Думал себе, грустил, а рано утром пошел и повырывал с корнями все цветы в саду соседа.
Он рвал жесткие влажные стебли, разбрызгивая во все стороны росу и комья земли, но не чувствовал ничего, кроме ярости.
Когда эта ярость прошла, из глаз Человека покатились бессильные человеческие слезы. Ему стало по-настоящему больно.
Когда же Человеку было по-настоящему больно, но никого не трогал.
Пошел унылый Человек в ближайший парк, встретил там девушку, вроде бы полюбил ее своей особенной любовью и через несколько дней женился.
А в первую брачную ночь, как утверждают очевидцы, скончался.
Было это так.
Он лег рядом с девушкой и подумал: как ему поступить с ней - по-садистски или по-мазохистски? От дум раскалывалась голова на две равные части, но бившие через край чувства захлестнули промежуток между частями, сводя их воедино. Человек озверело, напористо сделал то, что и следовало ожидать от него, человека чувствующего...
Девушка закричала о боли и Человеку парализовало от жалости к ней важнейший орган его чувствительного организма.
Ночь была сорвана.
На Человека навалилась, словно могильная плита, безрадостная тоска. Он лег на спину и отключился. Для того, чтобы спасти нервную систему Человека от гибели на почве истощения, природа погрузила его в летаргический он.
А люди не поняли и погрузили Человека в могилу.
Причем, он слышал, как и все летаргики, как его готовят к погружению.
Что он, интересно, чувствовал?
Узнал ли он в гробу, что он есть на самом-то деле? Науке сие неизвестно.
Один только Человек, который все понимал, живущий еще в ту пору на земле, понял, что Человек, который все чувствовал, был садомазохистом.

VI. **Человек, который сделал все вышеперечисленное СРАЗУ**

Он только родился... Только увидел... Только услышал... Только почувствовал... Только запомнил... Как сразу все понял и сказал:
- Мама, хочу обратно.
Сказал, и залез обратно в живот.

"Блаженны младенцы,- говорят толкователи Библии,- души их вечно пребывают в раю".

1992г

ЗНАКОМСТВО

Рассказ

Я - на полу. Простом паркетном полу без мастики, без ковра, способногозаботливо прикрыть изъяны. Сижу, прислонившись к ножке единственного кресла. Смотрю в холст, прижавшийся к мольберту, который будто специально ушел от меня в противоположный конец комнаты. На холсте - кувшин. Он весь в бликах. Светит на влажном столе среди прочего.

Кувшин - это я. Как и все, что выходит из под моей кисти.

Один бок у кувшина в два раза больше другого, и стоит он, кувшин, выглядывая из-под зеленоватой плоти яблока, на самом краешке... А птица всегда пересекает небо в самой середине. Даже если не хочет. Куда не взлетишь - везде середина. Я так хочу отразить путь птицы. Но моя птица середины не найдет. Она попросту пребывает в яйце.

Проворачивается ключ в замочной скважине. Легкий щелчок. Это соседка за стеной. Она еще не знает, что я придумала сделать с нами сегодня. Я слышу как падают, туго стукнувшись об пол, туфли с ее ног. Потом быстрые шаги ребенка. Короткий разговор. И вот оно, начинается...

Я вижу, я чувствую. Назовем тебя просто - Ты. Ведь ты - моя ровесница.

Так вот, ты, которая за стеной, слышишь какой-то шорох, щекочущий ухо, затем словно похрустывание сухаря белым кроликом. Обернувшись на звуки, ты обнаруживаешь между туфлями, которые почему-то небрежно оставила лежать каблучками вверх, серенького, мокрохвостого мышонка. Он царственно восседает на зеркальной поверхности паркета и грызет черствую черную корку, каких в твоем доме никогда не бывало. В кристально-чистом твоем дворце никогда не было мышей и черных корок. Ты брезгливо поеживаешься, натыкаясь взглядом на рассыпанные по прихожей черные крошки и пятишься накухню, чтобы удостовериться: в хлебнице нет и не может быть черного хлеба.

И ты действительно находишь на кухне половинку ослепительно белой внутри булки, но лежит она почему от не в хлебнице, а в алюминиевой кастрюле, плотно прикрытой крышкой, и булка непривычно сыра. Ты отщипываешь от нее кусочек, кладешь в рот, с отвращением жуешь... И вдруг вспоминаешь, что впервые за сознательную жизнь притронулась к еде, не помыв рук.

Тогда тебя охватывает гнев. Ты хочешь позвать ребенка и спросить, откуда в доме черный хлеб, мыши и чем он вообще занимался в твое отсутствие. Но вместо этого ты, пройдя в залу, подходишь к сидящей на подоконнике кукле, укладываешь ее набок и заботливо прикрываешь пледом. После ты возвращаешься в узкий коридор между ванной и кухней, откуда не видно, что происходит в прихожей, и садишься прямо в платье на пол, прислоняешься сутулой спиной к холодной стенке, прикрываешь глаза. Ты слушаешь восхитительный хруст черной корки, представляешь ослепительно белые зубки мышонка... Тебя обдувает соленым ветерком. И думается: а хорошо бы посыпать корку крупной солью и послушать еще и хруст соли.

Но вдруг тебя словно выводят из забытья пинком ноги. Вскочив, ты тупо смотришь на место, где только что сидела. Нагнувшись, ты прикладываешь к нему тыльную сторону ладони: да, паркет теплый, платье измято - значит, на полу сидел ни кто иной, как ты. "Глупая, глупая!" - повторяешь ты и бежишь - босая – в спальню, чтобы переодеться. Ты нарочно пробегаешь мимо зеркала, хотя совершала раньше церемонию переодевания исключительно перед зеркалом.

Упершись коленями в мякоть кровати, ты начинаешь снимать с себя украшения и бросать их прямо на покрывало. Но делаешь ты это не импульсивно. Наоборот, ты долго и скрупулезно разглядываешь каждую деталь. Вот кольцо. Что оно, крошечное, делало на

пальце? Вдруг бы кто-либо из джентльменов захотел поцеловать тебе руку и прикоснулся бы губами не к теплой, нежной коже, а к металлу? А браслет? Зачем он заставляет сиять запястье – такой неудобный, душный, как будто рука - это шея и шею стянули микроскопическим железным обручем. Ты с удивлением обнаруживаешь, что уши у тебя маленькие,но ядовито-зеленый камешки в серьгах оттягивают их вниз, как тесто.

Сдернув, с себя взвившееся от вихря наполняющих тебя чувств платье, ты поскорее набрасываешь его на все эти постыло блестящие штучки и распахиваешь гардероб. Ты долго обводишь взглядом ряды вешалок, выбирая подходящую одежду, хотя знаешь, что всегда носишь дома длинный ситцевый халат с большими розочками, но сегодня тебе хочется иного. И ты выбираешь брюки и синюю безрукавку.

Потом, уже в брюках, ты долго стоишь, склонившись над ванной, подставив лицо под струйки душевого крана, который можно держать в руке и направлять куда угодно. Ты сознательно не притрагиваешься к лицу руками, чтобы по ним не текла нечистая смесь из туши, теней и бог знает чего еще. Тебе не хочется смотреть на то, что льется с твоего лица.

Наконец каким-то шестым чувством ты понимаешь, что лицо стало чистым и от души натираешь его полотенцем, предварительно вытерев губкой остатки жирной помады. Ничто больше не украшает тебя, а,значит, и не сковывает свободу действий.

Ты выбегаешь в залу и ставишь пластинку с любимой английской мелодией. Она нетороплива, мягка, отстранена. Но ты вдруг понимаешь, что далекий этот голос не подходит к твоим брюкам, безрукавке и обнаженному лицу. Ты достаешь кассету, которой опять-таки никогда не было в твоем доме, немного прокручиваешь ее и сразу находишь нужное место.

Звучит гитара. Музыка берет тебя за руку и подводит к высокому книжному шкафу. Ты смотришь наверх. У тебя возникает странное желание взобраться на него.

Ты придвигаешь к шкафу тумбочку, ставишь на нее один стул, потом другой стул. На этот

другой стул ты кладешь несколько толстых книг и начинаешь поэтапно штурмовать вершину. Да, перед твоим мысленным взором не шкаф, а настоящая скала. Оглушительно тихо. Ты тычешь кулачками в голубоватые ледяные глыбы, взгляд твой прикован к чуть виднеющей над вершиной точке - какой-то птице... Ты не смотришь вниз и тебе не страшно. Но когда ты наконец оказываешься на шкафу, некто опять возвращает тебя к реальности грубым пинком ноги. Ты видишь тумбочку, стулья, книги - всю эту хрупкую конструкцию - и приходишь в отчаяние. Где ребенок? Что, если он увидит тебя в столь глупом положении? А если он захочет повторить? Господи, что это с тобой сегодня? Ты проводишь ладонью по лбу, пытаешься нащупать пульс. Ты понимаешь, что не сможешь так же поэтапно спуститься вниз. Ты просто сорвешься. А мышонок все хрустит корочкой, кукла лежит на боку, прикрытая пледом. В ванной шумит вода, которую ты забыла перекрыть... Тебе до коликов в животе хочется съесть простую яичницу с помидором. И тогда действие опережает мысль. Мысль: "Боже мой!" Действие - прыжок. Ты спрыгиваешь со шкафа и, приземлившись на корточки, с облегчением обнаруживаешь, что цела. Ты сбрасываешь книги прямо на пол, берешь оба стула и, прокрутившись на месте, опрокидываешь их. Затем ты отодвигаешь тумбочку к подоконнику, срываешь плед с куклы и застилаешь им тумбочку. На секунду взгляд твой задерживается на разбуженной тобой кукле и раздосадованный ее вид волнует тебя.

Потом ты снимаешь с себя безрукавку, комбинацию, бюстгальтер. Вылезаешь из брюк и трусов. Все это остается лежать на полу, как куча мусора. А ты... Ты - обнаженная. Мы обнаженные. Ничто больше не украшает нас. Мы совершенно одинаковые. Ты - по одну сторону стены, я - по другую.

Здравствуй!

Пробежавшись несколько раз из конца в конец комнаты, ты ложишься на диван и закидываешь руки за голову. Ты улыбаешься. Ты понимаешь, что муж, который сегодня

так сильно задержался, никогда не придет, что у тебя - бродячей души - нет и не может быть мужа. А если нет мужа, то, возможно, не будет и ребенка...

Ребенок! Господи, что это с тобой? Ты начинаешь всхлипывать. Тебе кажется, что ребенок вернулся в твое чрево и превратился в пылинку пылинок. "Это все она, кукла!" - кричишь ты, стремительно вскочив.

Распахнув окно, ты выбрасываешь куклу вниз, врываешься в спальню, срываешь с вешалки любимый халат, накидываешь его, кое-как застегиваешься и начинаешь метаться по квартире в поисках ребенка. Звенит хрустальная
люстра. Перешептываются стаканы в серванте. Вот он, Господи. Вот где ребенок. Он сидит в лоджии на коврике с машинкой в руке и с удивлением заглядывает в твое неестественно естественное лицо. Ты бросаешься к нему и прижимаешь его голову к груди, прикрытой халатом. Плач твой усиливается.
Вот что я сделала с тобой! Ты имела неосторожность заказать мне свой портрет и я втиснула в твое элегантное тело с непонятной мне душой нечто инородное - себя.

Ты не знала, что я умею писать только автопортреты.

Даже кувшин, выглядывающий на моем холсте из-под раздутого от гордости яблока - даже кувшин - всего лишь я. И яблоко - я. В тот миг, когда ты повесишь у
себя в зале свой портрет в моем исполнении, ты станешь несчастной. Ты увидишь в своих глазах мою сумасшедшинку и она тебе наверняка понравится.
Тебе захочется походить на портрет, но ты не сможешь.

Тебе покажется, что ты живешь не так, как велел тебе Бог. И тут уж я ничем не смогу тебе помочь.

Знала ли ты, что искусство распинает?
Но, Господи, втиснув в тебя инородное, пропихнув его в самую глубь твоей души, я нашла в ней то единственное, что отшатнулось от меня. Ты блаженно шла по моим следам до тех пор, пока я не подменила живого ребенка своей куклой.

Человек, вышвырнувший в окно мою куклу, не был мною.

Может быть, тебе станет легче, если я изображу тебя, как Мадонну, с младенцем на руках?

Не знаю - не знаю.

Как мне понять всех нас?

Я подхожу к зеркалу.

Я всматриваюсь в свое лицо, которое странным образом одновременно и твое. Потом я поворачиваюсь к другому зеркалу.

Я замечаю, что зеркала стоят друг против друга.

И тогда я сдвигаю их близко-близко, так, чтобы в поле их зрения не попали посторонние предметы.

Что они видят, зеркала?

Я могу фантазировать, о чем угодно, но никогда мне не узнать, что видит в зеркале зеркало, когда кто-либо из нас не маячит между.

1993г

ДЕРЕВО И СОЛО

Рассказ

Я никогда не любил комнатные цветы. Но это было дерево - неизвестное, вечнозеленое,- похожее на цветок тем, что нашло пристанище в глиняном горшке, а деревья я как-то привечал, выделяя из безразличной, в общем-то, природе. Из-за запотевшего стекла количество веток, которые я воспринимал как отдельные цветки, казалось большим, чем на самом деле - они переплетались, смешивались, превращались

ближе к сумеркам в густую, темную, почти неразборчивую массу. Они - "цветы" дерева - обитали в незнакомом доме за стеклом невысокого окна, где подоконник был вровень с моим плечом и, возвращаясь каждый вечер с утомительной работы тропой случайных прохожих, я замедлял шаг и произносил про себя: " Добрый вечер ", не называя при этом объект обращения. Да и к кому я мог обратиться - к дереву, цветку, неразборчивой массе? Иногда после этой фразы, слышимой и необходимой только мне, я задерживался в волокнистом свете люстры. Сочетание влажного оконного стекла, сжавшего корни растения и электрического света, мгновенно проникавшему повсюду без промаха, вызывало внезапную пронзительную тревогу, непонятно к чему относящуюся. И я опасался следующего шага - шага к влекущему меня дому, шага от дома, шага мимо дома ... Я знал, что опасаюсь не за себя. Сильный и хрупкий аромат Дерева, который я угадывал сквозь стекло, не должен был смешиваться с обычными запахами: моим - аптечным, - и чужими, что собрались в складках моей одежды за долгий день: запахами сигаретного дыма, духов, незначимых слов, других - оболгавшихся - цветов - заложников канцелярских кабинетов. Мне хотелось говорить в своих мыслях " Добрый вечер "все тише, чтобы не задеть в себе самом ни одной струнки, только мне необходимой и слышимой - здесь все было поставлено на карту, все могло прозвучать диссонансом. Здесь можно было умереть в бою с нарушителем границы Дерева - сладкой смертью стража. Но это был не мой путь. Я просто желал Ему хорошего настроения - неизменно, несгибаемо. И уходил, простояв под окнами не более минуты, желая еще не привлечь внимание хозяев. Или желая его привлечь. Я не знаю. Слишком велика была моя радость (и откуда она взялась - такая невыдержанная, диссонансная?), когда за приоткрывшейся створкой возникла высокая, прямая фигура - это был взрослый человек с сердцем ребенка, а потому пол его был неважен - и рука изысканно тонкая, с сильными и хрупкими пальцами протянула прозрачный целлофановый пакет, куда был уложен некоторое время назад большой "цветок" - саженец заветного Дерева, отделенный от их общего корня специально для меня.

Я не сумел загасить кипучую радость, только мне, впрочем, необходимую и слышимую, и это, как видно, послужило причиной тому, что стекло нечаянно вывалилось, хотя створкой вовсе и не хлопнули, а всего лишь неловко выпустили из рук, позабыв о сквозняке. Ринувшись наружу, стекло распадалось дольше обычного, словно продлевая мгновения, на которые происшествие вырвало меня из будней, а после плотно усеяло осколками границу между мной и Деревом, что осталось в доме неповрежденным, все тем же - не близким и не далеким... И виноват был в конечном итоге сквозняк - это отразилось в прощальной учтивой улыбке хозяина. Да, я, - это известно лишь мне. И еще я знаю, что в дом ворвалось дыханье улицы, и ветер нестройной доброжелательности перевернет там все вверх дном. Но осколки в сумерках - наместники звезд на Земле. Узнавший про это последует дальше разутым.

Не помню, куда понесли меня ноги. Тревога и радость стали слишком размашистыми, чтобы я мог ощущать направление. Если бы не наросты грязи на обуви, я шел бы и шел налегке за нырнувшим в ночь городом, шарахаясь от псов, уснувших в его переулках, прислушиваясь к уходу голосов и шагов, уже наполовину не будничных. Их было все меньше - чужих голосов. И страх за Дерево немного отпустил меня.

Я вынул саженец из пакета, который бережно держал до того у сердца. Таким несносным было мое сердце в своем неритмичном биении, что рука с пакетом во всю дорогу отстранялась от грудной клетки, другая же рука - прикрывала саженец полой куртки, не касаясь его. Теперь, умерив себя, я наконец разглядел в свете уличного фонаря колеблющийся в руках неплотный зеленоватый ствол обхватом в большой палец, изгибистые ветки со множеством сочных, мясистых листьев, спутанный широкий корень,

сильно усеченный привыкапывании. Ничего особенного не было в этомрастении - при скрупулезном рассматривании. Однако я знал, что если не сохраню его, то сердце мое высохнет и кто-то, может быть, еще не знакомый, умрет - умрет наверняка. Две эти вещи - состояние моего сердца и чья-то жизнь - были не связаны между собой, но Дерево умело находить связи там, где их нет, и решало все.

По монотонному пению старомодного саксофона - пению словно с кашлем и хрипотцой, - я определил, что поблизости рыночная площадь, и вновь поместив растение в пакет, поспешил туда, чтобы подыскать какую-нибудь жестяную емкость. Деревце должно было где-то временно переждать, пока я не куплю однажды у безвестного ваятеля подходящий сосуд - единственно возможный для такого случая.

Пенсионер-саксафонист, подвизавшийся нищенствовать близ рынка, тоже решил, как видно, переждать ночь, и озвучивал как мог ее фрагменты. Я тоже был для него фрагментом, частью прозрачной, сквозящей материи, из которой состояло, мерцая насквозь, абсолютно все: даже кружка у его ног, скрещенных на войлочной подстилке, даже накинутый на плечи ватник, даже сосуд от соевого масла, что свалился поодаль на бок. В действительности сосуд был прямоугольной жестяной банкой, столь же покореженной и прокопченной, как и обеденные принадлежности музыканта.

На одном из прилавков забыли ухоженное пластмассовое ведерко, которое тоже опрокинулось и вывалило два яблока, подернутых ржавчиной гнили. Земля кругом была изрыта, в холодных комьях затерялся гравий, проход между торговыми рядами образовывал настил из голых веток. Подумалось: "Здесь был сад, полегший нынче в ведра ". Запрыгала, дробясь, красноватая луна. Ни одной звездочки не стало на небе - оттуда дохнуло сыростью. А вскоре не стало и луны. Гигантская туча, похожая на черную руку с растопыренными пальцами, зависла над затылком - рука с серебристо-кровавыми венами. Пять узловатых пальцев указывали пять направлений, в которые можно или нужно было бежать. Пока я медлил, пальцы отделились от руки и уплыли в свои направления, беспалая же квадратная ладонь впечаталась в лунный диск. Потом уплыла и ладонь, и все смешалось в кроваво-серебристом свете.

Саксофонист все потягивал в ладовом стиле хриплую, грустную, приторно-спокойную мелодию. Казалось, ему нет дела до разорванности мира, до его удручающей пустоты. Не будь у меня саженца, который я бережно держал на весу, возясь у банки из-под соевого масла, чтобы набить ее землей, совсем другая мелодия прорезала бы всю эту зыбкость, иные звуки- дерзкие, саркастические - исцарапали бы ледяную сердцевину мира, брошенную нам, как кость собакам, где бы ни была она зарыта. Я бы уж дотянулся до горла саксофона! Но необъяснимая уверенность в необходимости своих действий заставляла меня пританцовывать у жестяной банки, не выпуская из рук укутанный саженец, и выкркшенная желтой краской емкость с волнисто покореженными боками была как замершее пламя костра - костер не гас от земли, которую я подкидывал. С той землей я почему-то смешал вещи ненужные, а то и опасные, отчего все мои старания стали попросту дикими. Я наполнил жестянку древесным пеплом, гравием, растоптанной головкой гвоздики, вынутой из мусорной кучи, куском обгоревшей резины, обрывком фотопленки и множеством, великим множеством стеклянных осколков, истертых, проавда, до пыли. В эту массу я и поместил саженец, заложив его корни самым причудливым материалом. И тогда костер в моем воображении потух, и возникло Дерево.

Все разом успокоилось и пришло в стройность. Нестарое еще, тихое какое-то лицо саксофониста прояснилось для меня. С немыслимой тоской, разящей только его сердце и поэтому ничего не бередящей снаружи, пел он бессловесное, мудрое заклинание

сердцевине мира, что таилась, подобно змее, и в сумраке ночи, и в сиянии дня. Человек этот был такой же, как и я, только больше меня, лучше меня, потому что во взгляде его не теплился намек на надежду. Свет от горящей покрышки обагрял его белые усы, под которыми, возможно, не было губ. Чем я мог отплатить ему за спасительную игру? Чем из того, чего бы не было у него самого?

Натужно оторвав от земли банку с Деревом, я подбрел к музыканту полукругом и, опустившись на корточки, поставил ее на свое левое колено. Тепло костра, образованного в покрышке, пронизывая, расслабило нас обоих, сделало сентиментальными и беспомощными. Что-то примешалось к музыке и растревожило вселенскую кобру. Я ощутил ее трепет в своем позвоночнике. Но что бы ни случилось со мной в следующую минуту, я должен был сделать музыканту подарок - как себе самому, и даже лучше, чем себе.

Колено с растением в банке приблизилось вплотную к скрещенным ногам, слабо держащим сидящего человека на преющем войлоке. Нет ничего слаще, чем подарить ему Дерево, - так мне подумалось в эту минуту. Но уже через мгновение свободная моя рука импульсивно припала к бутылочным осколкам в углу подстилки. Я сжал их до боли, до ран, после чего протянул музыканту ладонь в капельках крови, и он удивленно, бережно обхватил ее у запястья. Безбольно нажав, он долго не выпускал мою руку, куда переливалась без стука нараставшая сердечность. А после я не простившись ушел, решив, что отправлюсь туда, куда смогу донести Дерево - со всеми килограммами, что приросли к его корню за прошедшую ночь.

Как ни странно, место, к которому я добрался, оказалось моей остановкой, и провода уж вздрагивали, предвещая приближение первого троллейбуса.

У подъезда, куда он доставил меня сквозь седеющую мглу, взъерошенную тонкой, разборчивой сутолодкой, я точным, выверенным движением извлек Дерево из банки, чтобы очистить собранную землю от всякой всячины, но не обнаружил, к своему удивлению, довольно, впрочем, вялому, в земле ничего кроме чистой землицы. Взглянув на правую лодонь, я засвидетельствовал осколочные порезы - они еще саднили, и, ощущая естественность происходящего, вернул растению его место.

2

Нет, не дано нам устроиться надолго ни в красивой яви, ни в страшной. И однажды возьмет да и выпадет в их хаотичном чередовании третья карта. И называться она будет не гармонией.

Как-то летним днем, выслушав крайне неряшливую исповедь пациента-литератора (а работал я не то психиатром, не то психологом, а попросту -собеседником в благотворительной поликленике ордена св. Камиллы), я ощутил, отравленны не только лучшие мои чувства, а все, - все!

Покинув кабинет, я прошел сквозь жиденькую очередь к самому себе НА ВОЗДУХ и там, весь взмокший, стал искать гири - ведь должно же что-то привязывать к Земле, когда нет силы тяготения ни в душе, ни в теле. Такой гирькой могло стать созерцание любимых мною скаковых коней - они подчас казались мне лучше, чем люди. Я почти побежал по направлению к ипподрому, чтобы не потерять в промедлении этой пойманной мимолетной тяжести - из разряда тех, что набирают вес, когда мгновение продлилось от скуки. Как компактно мы существуем! и десяти минут не прошло, как перемахнул я через

ограду старинного скакового поля, присмотрел кусты шиповника за обочиной и свалился на спину, раскинув руки. Листья и плоды застилали глаза, если смотреть в небо прямо. Косые тени от решетчатой ограды навалились на грудь. Ветер подкидывал на лицо песчинки. Какое безразличие кругом и во мне! провались мир в тартарары, ничто бы не дрогнуло, не откликнулось.

Прекрасные кони в количестве трех штук, грациозно склонив головы в траву, напоминали статуэтку - она была в отдалении и представляла собой сочетание форм и линий, действующих на восприятие по неким законам эстетики. Теперь, когда я просто знал это, но не чувствовал, я не нуждался ни в чувствах, ни в знаниях. Листья тополя, что рос в шагах двадцати, тоже имели безупречную форму и вибрировали под равномерной давильней воздуха. всЕ это не могло привязывать меня к жизни, нет, не могло.

А мир стремительно изменялся и, любопытно, что изменялся пропорционально. Некоторые вещи лопнули, словно пузыри, другие уменьшились до размеров поплавков, третьи, должно быть, залегли в глубине как айсберги. Я же был большой и самому себе ненужный : некуда стало раскинуть руки, нечего ими взять. Мы с миром были равны и в то же время закрыты друг другу. Я отмечал это без страха. Но в памяти - исключительно в ней, а не в непосредственных ощущениях - теплилось опасение, что пока я в нем не нуждаюсь, мир может забыть про меня и отвернуться при встрече. Ведь я надеялся вернуться. И за надежду уцепился страх - он принялся вытягивать мир в рост, словно тот был стеблем, раздувать его так, будто он безразмерный, сверхпрочный.

Теперь огромный тополь влип макушкой под самые облака, похожие на снежные хлопья, и все равно не добрался до синевы. Листья вдали и над лобными долями скрежетали под ударами ветра, разбитыми на короткие множества. Носились по полю гигантские кони из расколовшейся статуэтки. Их копыта, как и плоды шиповника, были размером с череп. Гул галопа, судорожное ржание, удары друг о друга песчинок и листьев - по отдельности и вместе - вползали в уши подобно живым, изворотливым змеям. Я же был словно мертв. Слишком долго я был доктором и настала, видно, пора стать одним из тех пятен, что оставляют в душах другие люди. " Сдохнуть, хочу сдохнуть! " - шепнул я несколько раз сквозь стон, увязая все глубже в полудреме - крошечнуй, ослабленный, со свалившейся набок головой, где кто только не роился.

И тут в ужасную явь вторгся сон, который стал рассеивать, отводить ее от меня. А снился мне Маэстро - человек с сердцем ребенка, с сердцем пророка. Рука его легла на грудь наравне с решетчатыми тенями и все это, прежде безразличное и неприятное - пики шипов, громыхающие оскаленные кони, старческая гримаса ребенка в коляске, похожей на беговую, его престарелая мать, огромная пустая свеча тополя - все это лишилось тяжести, которую надо выгребать и легкости, к которой следует подвешивать гири. Мир обрел привычные очертания, свернулся до мест под зарослями шиповника, оттуда можно было обозревать прекрасных коней... По левую руку отсюда располагались поликлиника и Дом престарелых, по правую - церковь и рынок. Где-то посередине находились троллейбусная остановка, откуда можно было въехать в центр, либо домой, на окраину. Эта исходная явь устраивала меня так же мало, как и та, в которую я углубился по линии ее искажений, или, если угодно, изменетия. Не хватало чуда, отдельно похожего на то, какое я испыта в день, когда получил в подарок саженец. Мне была необходима длительная поддержка Маэстро, и я порывисто накрыл его руку своей влажной ладонью, но вдру раздался треск, и рука Маэстро выскользнула, так как он провалился по грудь в воду со льдины, на которую присел, помогая мне. Я обнаружил, что тоже находился все это время на льдине, которая представляла бескрайнюю белую пустыню, теперь обрушившуюся. Отсюда легко было протянуть руку помощи, что я и сделал немедля.

Маэстро же, выбравшись из воды, выглядел смущенным. Он словно в саже вымазался и торопился уйти, инстинктивно прикрытьлицо и руки. Я же, придерживая его за мокрое, ледяное плечо, просил, заглядывая в глаза: " Останься! Ты нужен мне любой ". " Дай мне время, "- отвечал он беззвучно."Но это же моя грязь,моя!"-выкрикнул я пронзившую меня догадку. Я готов был расцеловать этого человека, но тут он так резанул меня взглядом,что я наконец отпустил его.

Потом возникло Деревце на моем подоконнике.Оно медленно погружалось в сосуд из-под соевого масла, словно было лодкой, пробитой снизу неизвесным чудовищем. Дико закричав,я добрался в два прыжка до окна я подхватил ствол. Я успел вовремя, так как емкость была наполнена болотной жижей. На крупных листьях жуткими кляксами расползлись пятна. А въедливое солнце во все глаза, во все глаза!.. Пытаясь прикрыть Деревце растопыренной ладонью, я кричал, чтобы принесли новую землю, звал всех на помощь. Это было так страшно,что я проснулся.

В самый раз проснулся. Тело еще хранило ощущение разбитости, но к вискам уже пробилась кровь, которая желала единства с этим миром. Прекрасные кони, еще неоседланные, носились по полю. Я кинулся за пегим скакуном, поймал его за уздечку, намереваясь добраться до заветного дома с Деревом на коне (я не был там с весны, с того дня, который запомнился мне как чудо, от которого бегут, чтобы оно не кончалось). Но я опомнился и просто довел Скакуна до ограды, после чего долго бежал по шоссе сквозь голоса и гудки, слыша еще галоп моего Скакуна, что мчался обратно к собратьям, от которых я чуть было не увел его.

Так , на бегу, я проник в Дом, отметив машинально симметрию пустого окна, за которым больше не значилось Дерева. Хозяева, проведя меня в комнату, которую я по склонности к восторженности считал единственной, сообщили, что жилец съехал. Случилось это позавчера. Второпях, но тщательно прибавшись, Маэстро упаковал рюкзак и взял только Дерево и гитару, оставив ударную установку, а также вазу заплесневелых апельсинов с просьбой НИКОГДА ИХ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ. Вручив записку, хозяева делекатно удалились или просто выпали из поля зрения. Записка состоялаиз одного предложения:"На какой-нибудь, любой, может быть, сумащедший, случай, мой телефон". Номер был иногородний.

Я беспомощно оглянулся на подоконник, где вместо Дерева, в правом углу расположилась прозрачная ваза, наполненная доверху апельсиновой плесенью... И вот меня разобрал смех-он завязался в районе солнечного сплетения и словно по соломинке поднимался, чтобы выскакивать наружу на недоступной мне частоте - подобно пузырькам, пусть даже и мыльным. Это был смех лукавый очень добрый но не мой. И в моей мимике он не запечатлелся. Но меня словно листьями завалило - разноцветными. Потом они упали, шурша, под ноги, превратились в черные пласты, где отпечатались обе мои ступни, погрузившиеся затем по щиколотки в жижу; наконец между пальцами вылезли головки подснежников. Все это повторилось несколько раз в обратном порядке, в нулевом порядке, без всякого порядка. Ох и завязывался же смех, по многу раз завязывался, но никак не мог я его заполучить. Все было таким неопределенным, но в этом странном Доме я не боялся потерять мир, ненароком выбыв.

Сорвав с ударной установки фиолетовое покрывало, служившее прежде занавесом, я расположился поудобнее и взял в руки палочки - вертикально к полу, как рычаги. Не так давно, в студенческие годы, я брал уроки у старого рокера-ударника и техническая сторона моя, слава Богу не отвлекала. Первые удары слетели на барабанную кожу, словно

пикирующие бомбардировщики. Но потом я взял себя в руки, перебросил в них раз-другой палочки и робкие ритмы возникли.

Я шел в в Дерево, проходил его насквозь, двигался дальше, разворачивался. Дерево догоняло меня, шло насквозь, обтекало, включало меня... Я взбирался по взгорью к Дереву, что всегда дожидалось, расставив ствол коридором. Сердцевина его могла послужить пристанищем для тьмы путников, но каждый из нас мог задержаться в негорячем пламени только на миг.

Пульсирующий гул-смех, завязавшись в недрах земли, растрескивал поверхность, раскачивал новостройки. Жильцы, кто плача, кто смеясь, выскакивали на балконы и следили за обрывающимися в небе проводами, что кружили так и сяк, не находя себе места. Чем круче, тем чище. Крутизна мойх ритмов заставляла вертеться Землю, и провода заворачивали куда ни попадя. Зато я знал, что не фальшивлю.

...Провода заворачивали по стуку... Я мог задержаться в негорячем пламени на два, три, четыре мгновения...

...Провода заворачивали по стуку... Время от времени я звонил по телефонным номерам, которые менялись с завидным постоянством, и сообщалв трубку голосом, звенящим от восторга:" Дерево рстет! "

...Провода заворачивали по стуку...

Может быть, в будущей жизни Дерево и станет мне по росту, и мы с Маэстро сможем запросто не узнать друг друга. Все может статься в будущей жизни.

А пока я по- прежнему работаю в поликлинике, зная, что переменю со временем род занятий, образ жизни. Иногда я вижу в окнах чужих домов наше Дерево - это служит мне знаком поддержки и одобрения. В первое время я расстраивался, если промежутки между знаками удлиннялись и однажды был наказан за нетерпение по-доброму насмешливой Па-а-узой. Я знаю, что в городских квартирах раскинулся сад, и втайне горжусь этим фактом. А еще я знаю, что наш мир - прекрасная штука, потому, что он любит Маэстро. Вы только представьте: мир поделился со мною частью теплоты к этому человеку только за то, что я был немного добр. Мы с миром любим Маэстро на пару и никогда не ущемлям друг друга. Сознавая, что я был одарен этой любовью, точнее, ее искрой, не совсем незаслуженно я отдаю себе отчет и в том, что милость небес дана мне с избытком - чтобы легче мне было оставаться щедрым и ничего не желать урвать от человека, который так чужд корысти и чувствителен к покушениям потребителей - любым, даже изысканно-дружелюбным, даже с печатью Св. Духа.

3

...И приснилось мне в зыбком утреннем сне Дерево - море деревьев, плавно колеблющихся в ярко-зеленом зареве сцены. Сплетенные меж собой, кроны отбрасывали могучие волны света, - они приподняли мнея с кресла в правом крыле партера и, набегая, прошибали насквозь - жгуче-прекрасные, огненные, вовсе не грозные, скорей, уязвимые... Я был один в этом радующем театре, если не считать Маэстро - человека с сердцем ребенка, сердцем пророка, который неясно угадывался на сидении с краю, у прохода к дверям - среди тени, отброшенной в зал светом сцены. Незримое сияние, ровное и тихое, исходило от его левой руки к моей правой - пронизывая ее всю и щедро ррастекаясь по ладони - ладони без единой ссадины: по линии сердца, по линии жизни, по поперечным

линиям... И так светло. Так легко было на душе, так ясно, бездумно и весело, что над кроватью склонилась мама, потому что мой смех напомнил ей младенца.

1998г

КРУГОВОРОТ

Рассказ

... И приснилось Савельеву Дерево - море деревьев, плавно колеблющихся на малиновом бархате сцены. Сплетенные меж собой, кроны отбрасывали могучие волны света, - они приподняли его с кресла в правом крыле партера и, набегая, прошибали насквозь - жгуче-прекрасные, огненные, вовсе не разящие, сами скорее разимые... Он был один в этом радующем театре, если не считать Маэстро - человека с сердцем ребенка, который неясно угадывался на сидении с краю, у прохода к выходу - среди тени, отброшенной в зал светом сцены. Незримое сияние, ровное и тихое, исходило от его руки к ладони Савельева - ладони без единой вмятины от ногтей. И так легко было на душе, так бездумно и весело, что смех разбудил его.

Проснувшись, он по инерции продолжал улыбаться в темноте, словно в театре затемнили сцену, чтобы сменить декорации. Савельев знал - если пролежать так несколько минут, солнце за сомкнутыми веками, одеялом и занавесями превратится в луну, утро сравняется с вечером. И все-таки придется поднять непослушное тело и вонзить его нехотя в будни. Жизнь завопит, утыканная множеством таких иголок. Захочется сжать уши ладонями и пройти восвояси как-нибудь боком, мимо...

Савельев медленно стянул одеяло с лица. Сквозь немытые окна залы и лоджии на него обыденно взирало солнце. Поглядев на это зрелище с опаской, он вновь прикрыл глаза, но холодный маслянистый свет уже проник внутрь, пропитал его жиром, чтобы толкнуть, разморенного, в мясорубку дня.

Он напрягся и встал. Рука машинально нащупала на полу нестиранные джинсы. Не встряхнув , он надел их такими, какими они были, надеясь, что куртка и новые ботинки скроют небрежность в одежде, точно так же, не глядя, он достал из гардероба первый попавшийся свитер и натянул его, узкий не по размеру, на астеническое туловище. Сегодня не надо было тащить себя в гости и он мог позволить себе одеться вольно.

Умывшись только потому, что так полагалось, Савельев сел, небритый, за стол. Взглянул на завтрак, приготовленный матерью, которая в последнее время уходила на работу раньше, чем требовалось. Завтрак состоял из хлеба, куриного яйца и картошки в мундире. Савельеву было все равно, что находилось в кастрюльке. Чтобы скоротать время, он сел напротив не включенного телевизора и стал медленно очищать картофелины. Очищал и тут же клал, не порезав, в большой рот, забыв о соли и масле.

Шмыгнул в форточку, как потерявшийся, сухой ветерок. Он занес чудом дожившую до заморозков моль с огромными, тяжелыми крыльями, пыль с которых заполнила, искрясь и мельтеша, тонкий луч света - один из немногих, проникающих в залу с улицы через барьер застекленного балкона.

Сделав круг по комнате, моль уселась в самую середку телеэкрана, слившись с его фоном. Но Савельев вышел из-за стола и стер ее голой рукой, словно нецензурную надпись со школьной доски. После этого акта он пристально посмотрел на ладонь. Линия его жизни была смазана. Он перевел взгляд на экран телевизора и увидел неровное, влажное пятнышко пыли.

Тогда он резко заходил по комнате, лихорадочно вытирая руки об одежду, наткнулся взглядом на бритвенный прибор, замер, пошатнулся и выбежал поскорей за дверь.

Еще несколько месяцев назад Савельев как-то жил. Вставал по утрам без радости, но и без особой печали. Завтракал, порой с аппетитом. Непременно брился и садился за письменный стол, раскрывал Гегеля и пополнял распухший как кровоподтек интеллект.

Но однажды в жаркий июльский полдень он узнал о том, что в районный книжный магазин завезли сборники японской поэзии.

Солнце стояло в зените. Как всегда серьезное, внимательное. Глядело важно в асфальт, опираясь на него сухими лучами. А за солнцем охотилась туча. Нежно подбиралась к нему, белесая по краям... Струилась медленно черной вуалью.

Высотный дом был залит маслянистым светом, и три глубоких подъезда его четко вырисовывались прямоугольной темнотой.

Савельев вышел из первого подъезда, Ирина - из третьего. От середины дома тянулась широкая асфальтированная дорога, тоже вся словно маслом облитая, постепенно набирающая крутизну и сужающаяся вдали. Они должны были ступить на нее одновременно, но Савельев нарочно замедлил шаг, чтобы пропустить девушку вперед, метров этак на десять. Далее он собирался увеличить это расстояние еще метров на пять. Но она все-таки заметила его краем глаза, цвета которого он не помнил, посмотрела невыразительно, как птица, и слегка кивнула. Он не успел бросить ей ответный кивок, настолько быстро она отвернулась и пошла своей дорогой, которая была и его дорогой.

Савельев шел за неторопливо плывущей от него метрах в пятнадцати приземистой фигуркой и думал о том, что может опоздать из-за нее на распродажу. Короткие грязно-пшеничного цвета жидкие волосы девушки были подстрижены ровно-ровно, будто под линейку. Белая блузка в горошек и черная юбка, бывшая чуть ниже подколенных впадин, колыхались на легком ветру. Цокающие элегантные каблучки делали фигурку немного выше. Но это не меняло дела. Слишком приземленной была девушка для широкой беседы, как сказал бы один его приятель-интеллектуал. Поэтому Савельев жутко боялся, что низенькая эта девушка, бывшая его соученица по параллельному классу, приостановится и, дождавшись его, заговорит о чем-нибудь. Именно о чем-нибудь, о чем он, Савельев, студент философского факультета, говорить не умеет, и путь превратится для него в немую пытку.

Так, друг за другом, они взошли по набравшей крутизну дороге на автобусную остановку.

Под навесом стояло человек десять. Савельев пристроился за их спинами и стал незаметно наблюдать за тем, что будет делать Ирина. Не решится ли она, не приведи Господь, подойти к нему?

Но Ирина, глянув на часы, сняла с плеча сумочку, достала блокнот в красном кожаном переплете и вошла в телефонную будку...

Подошел переполненный автобус. Некоторые из ожидавших влезли в него вместе с Савельевым, а Ирина осталась в будке с телефонной трубкой у уха.

Вышел он остановок через пять. Купил том японской поэзии, перелистал его с начала, с середины и с конца и, сунув подмышку, отправился за покупками, навязанными матерью. Зашел в хлебную лавку, купил горячий лаваш и захотел оторвать от него кусочек, но постеснялся сделать это прилюдно. Затем заглянул в овощной, ткнул пальцем в первый попавшийся кочан капусты и, бросив мелочь на прилавок, натянул на него пакет. Кочан был прохладный и за него хотелось держаться.

На улице продавали газированную воду, мороженое, свежую зелень, цветы. Но Савельеву больше ничего не было нужно. Немного пройдясь, он дождался своего автобуса и поехал обратно.

В автобусе подвернулось свободное место. Спешно заняв его, он снова раскрыл заветный том, чтобы прочесть несколько стихотворений, но в голову ничего не лезло. Пять остановок промчались быстро и Савельев вышел.

Сворачивая к дороге, ведущей к дому, он машинально обвел взглядом пространство напротив: навес, телефонную будку. Под навесом было совершенно пусто, будто от остановки только что отошли сразу три автобуса с тремя различными номерами, а будки... будки не было совсем. Удивившись, но не сильно, он внимательно посмотрел на место, где стояла час или полчаса назад телефонная будка. Сиротливо просматривался вдали большой белый дом. Савельев никогда не думал, что он такой большой и белый, так как будка - крошечная эта будочка - несколько прикрывала обзор. Теперь было голо, как-то ново и от этой непривычности стало неуютно. "Может, ее снесли, чтобы стало просторней?" - глупо подумал Савельев. Присмотревшись еще внимательней, он увидел на земле несколько осколков - и как раз в том месте, где стояла прежде телефонная будка. "Неужели они ее разбили и вынесли по частям?" - вновь подумалось Савельеву. При этом он особенно не задумывался над тем, кто были эти таинственные **они**.

Он смотрел на пустое место, освобожденное зачем-то будкой, а ноги по привычке вели его посеревшей дорогой к дому. Солнце уже плотно заволокло тучей и в воздухе чудились предгрозовые запахи. Первые капли легли на асфальт большими рваными пятнами; ожили, заблестели влагой осколки на земле. Но это был еще не дождь, а если и дождь, то приятный, освежающий.

И тут он увидел **ее**. Дело в том, что остановка располагалась на возвышенности у обрывистого склона, а дорога к дому тянулась вниз, огибая склон со спины и будка, стоявшая до того на склоне, лежала теперь вверх тормашками внизу, у подножия, метрах в десяти от прежнего места, будто кто-то спустил ее с пригорка как санки, осыпав землю блестящими осколками-льдинками.

Тут Савельев отвернулся от остановки и ускорил шаг.

Навстречу ему шла в развевающемся на ветру бордовом платье еще одна бывшая его соученица по параллельному классу. По мере ее приближения ноги Савельева слабели, будто в них кто-то дул порывами противной мелкой дрожи. Издали могло показаться, что он покачивается на ветру.

- Привет, - сказала бывшая его соученица, растягивая в улыбку смуглые щеки. - Ой, у тебя хлебушек? Можно я отщипну?

Волосы ее были туго стянуты в хвост, лоб же - большой и высокий - давил на Савельева всей своей поверхностью, потому что Савельев засмотрелся на лоб, инстинктивно не желая сталкиваться с девушкой взглядом.

- Бери, сказал он бледнея и высунул из пакета круг лаваша.

- Как сессия? - поинтересовалась она явно без интереса. - Ты, вообще, на каком курсе?

- На третьем, - ответил он. И спросил осторожно, почти шепотом, чтобы не испугать самого себя: - Слушай, ты не слышала тут ничего странного?

- Ах, да! Кажется, недавно убили какую-то девочку.

- Какую девочку? Какого возраста?

- Не знаю. Маленькую, наверное.

- Ладно, я пойду.

- Ага. Иди.

Савельев пошел. Машинально. Опять та же дорога, ведущая прямо в средний подъезд. Если свернуть налево, будет его - первый; направо - третий. Он нарочно опустил голову, чтобы не увидеть ничего особенного. Если бы он не стеснялся, то прикрыл бы и уши, но улица была безмятежно тиха. Предположение его было настолько абсурдным, что он, несмотря на усиливающуюся дрожь во всем теле, тихо посмеивался про себя. Мало сказать посмеивался - он просто хохотал внутренне до упаду, пока не столкнулся в дверях лифта с соседом. Лицо у того было зеленоватым, а глаза больные, жалостливые.

- Бедная девочка, сказал сосед Савельеву так, будто они с ним уже обсуждали эту тему. - И ведь никого больше не задело... Надо же быть таким дебилом, чтобы врезаться в

телефонную будку. Сам-то одним испугом отделался, а девочке только двадцать третий год шел.

Мать еще не вернулась с работы, и поэтому никто не удивился, когда Савельев, опустившись в кресло перед телевизором, уперся взглядом в экран, так и не включив его. Просто ему нужно было во что-то упереться. Пакет с продуктами он оставил лежать на полу в прихожей, а сборник японской поэзии положил на тумбочку. " И что - она умерла? Такая неприметная?" - подумал он с тупым удивлением. Он не понимал - как ее могло вдруг не стать? То самой, что жила еще час или полчаса назад на самом среднем - четвертом этаже их комфортабельной высотки. Той самой, что неторопливо взбиралась в прелестную свою квартирку, где чувство уюта навевали старомодные, но жизнерадостные родители. Той самой, что вяло постукивала каблучками по дороге со школы, где училась средненько, потом - по дороге из института, куда попала чудом и прозябала так же средненько. Разве такие умирают? И такие, что ли, погибают?!

Савельеву захотелось вспомнить ее лицо, но он не смог, так как все время видел только ее спину со слегка сутулыми плечами и длинными руками, которые она носила неподвижно, будто волоча их за собою по воздуху как отказавшие крылья. После окончания школы они с ней, кажется, никогда еще не шли так близко: всего в пятнадцати метрах друг от друга. Он стал тщательно вспоминать ее лицо школьных времен, когда они собирались детьми, а затем подростками во дворе большой компанией и вели то шумные, то тихие игры, но опять-таки не вспомнил ничего, кроме одного только носа - маленького, желтого, усеянного веснушками и крошечными угрями. Вспомнилось, что она всегда предпочитала игры тихие. А более всего она любила не играть совсем. Стояла, не спускаясь во двор, неподвижно, на среднем своем балконе, сложив руки на перилах, и смотрела всегда вниз, или в сторону - на соседние балконы.

Савельев уставился на увесистый том японской поэзии, который давил на тумбочку зеленью прочной обложки. Будто солнечный мелок расписал ее золотистыми буквами. Противный солнечный свет, который хочется зачеркнуть занавеской... Савельев вскочил, лихорадочно схватил сборник с полированной тумбочки, на поверхности которой отразилась на миг его молниеносная и даже как будто мохнатая рука и, выбежав на лестницу, спустил книгу в мусоропровод.

С этого дня он перестал читать, а телевизор предпочитал смотреть при потухшем экране.

Следующие три дня были заполнены соседской суетой, слухами, разными формальностями и невозможно было отделить правду от вымысла. Савельев слышал от соседей, что тело Ирины пострадало не сильно, - кости остались целы. Скончалась она от разрыва сердца. Но не мгновенно. У нее будто бы загнулся подол юбки и она успела одернуть его, прикрыть оголившиеся коленки... А еще говорили о том, что гроб у девочки, слава Богу, что надо - дубовый, с резьбой. Когда же состоялись похороны, а затем поминки, все вдруг заговорили о говяжьих пельменях, которыми угостили всех соседей, пожелавших почтить память за угощением.

Сам Савельев никуда не ходил, только слушал пересказы матери, смотрел в пустой экран и думал о том, какие они все сволочи, почему они смеют играть в соседнем доме страшную свадебную музыку, ведь ушел целый человек - какие могут быть свадьбы... Рассказ про прикрытые коленки вызвал в душе нескончаемую тупую боль, от которой он ушел бы, стань она острее. Когда же Савельев выходил погулять на балкон, то видел на бельевой веревке **того самого** балкона безветренно висящую черную косынку. В эти мгновения он чувствовал себя мертвым.

...Теперь он машинально стоял, непроизвольно прокручивая все это в памяти, у старого кинотеатра, расположенного напротив дома. Бетонная стена какой-то хозяйственной постройки упиралась в спину, давая ощущение безразличной опоры.

До сеанса оставалось часа два, поэтому он мог спокойно надышаться терпким воздухом безлюдья. Только в десяти шагах курил, сидя на корточках у входа, неизменный билетер, который обычно пропускал в зал не по билетам, а за наличные.

А с карниза между тем свалился не научившийся летать голубь-переросток. Или, может быть, это был очень старый голубь с задремавшими навек крыльями. Голубь ходил как по трамвайным рельсам то туда, то обратно в пространстве между Савельевым и билетером, между играющими поодаль детьми и коричневой массой кота, выжидавшего последнего штриха савельевского равнодушия.

Савельев глядел, не мигая, в собственную пустоту. Билетер разглядывал птицу пустым взглядом, приобретающим от минуты к минуте тугую осмысленность.

Остановился знакомый врач-стоматолог, положил на землю дипломат, ловко нагнулся и - принял голубя в широкую ладонь, - в ту самую, в какую клали ему пациенты наличные.

Врач-стоматолог, который переел на поминках пельмени и жаловался потом, что мясо было тухлым, кажется, попросил у билетера нечто ступенчатое.

Билетер, вечно грозивший инвалидной тростью детям-безбилетникам, матерящийся на весь белый свет, покорно доставил шаткую, ветхую дровяную лестницу.

Врач-стоматолог, который ценил гробы исключительно дубовые, прочные, представительные, осторожно передал голубя в руки билетеру.

Билетер, который никогда не держал в руках книг, младенцев, конфет и цветов для женщин, принял белый комок из ладони врача-стоматолога и поднес к глазам, как первоклассник подносит букварь. Брови на его переносице разомкнулись. Губы растянулись в подобие улыбки.

Врач-стоматолог, который у родной матери снял бы золотые коронки, прежде чем положить ее...

Господи, а вдруг он, Савельев, все это придумал: про пельмени, гробы и коронки?! Про билеты, грозящие трости и непрочитанные книги?! Или снилось все это ему всю странную скучную жизнь?!

Врач-стоматолог взобрался по скрипящей лестнице, рискуя сорваться... Над головами озабоченных, целенаправленно суетящихся соседей, собравшихся зачем-то под карнизом. Савельев уже не помнил, что было в руке у билетера и из-за чего весь сыр-бор.

Ах да, врач-стоматолог дотянулся-таки до карниза и водворил на положенную высоту, потому что внизу не умеющей летать птице грозили коты и дети.

Тот самый врач-стоматолог, который...

Когда доктор сошел с лестницы, отряхнулся, поднял дипломат и отправился в свой стоматологический кабинет, а билетер, отвернувшись, двинулся с лестницей в сторожку через проход в расступившейся толпе, Савельев поглядел им обоим в спины и ком подступил к его горлу.

"Люди выросли, - подумал он, как всегда, не очень точно. - Я сейчас совершу такое... Такое...".

Поднявшись, весь в слезах, в квартиру, он достал тонкую тетрадь, положил ее на старый детский стул и, согнувшись, принялся писать.

"Разве не материализуются желания? Разве не может вера возвести гору? - подумал он словами, почерпнутыми из популярного журнала.

Написал Савельев следующее:

"Я стою в глубоком черном гроте - прямоугольном своем подъезде. Глубина - за спиной. Я же одетый во все белое, четко вырисовываюсь на первой ступеньке. Гулко гремит секундная стрелка. Я тщательно вычислил тот отрезок времени, который должен выкрасть у вечности. Мне необходимо воскресить его до мельчайших подробностей и, наполнив новым содержанием, пустить события по иному сценарию. Я хочу разъять место и время.

Вот черный прямоугольник выбрасывает ее на косую линию, ведущую к общей дороге. Окаменевшие мои мышцы расслабляются. Тяжелый, обмякший, я спешу ей наперерез. Две случайные линии сошлись в одной точке.

- Здравствуй, Ирина, - говорю я.

- Здравствуй, - охотно отвечает она и вяло улыбается. Я слышу это по голосу, который хорошо помню.

Мы идем рядом и я не вижу ее лица, ибо не могу вспомнить. Что сказать, боже мой, я не смог ничего придумать заранее, понадеявшись на то, что тему подскажет она. Но Ирина молчит.

"Как дела в институте? Ты вообще учишься? - могу спросить я. А на каком курсе?.. Как здоровье? А мама как? А папа? Хорошая сегодня погода, не правда ли? Только жарко. Хотя, кажется, будет дождь..."

Нет, это все не то. Это - неправда. Потому что на самом деле меня не интересует погода, да и до здоровья родителей мне нет дела. Мне все равно, учится она или работает, ибо ответы на мои вопросы не приоткрывают и щели в святая святых души человека. А мне нужно прямо туда, чтобы нащупать одну единственную струну, пусть всего лишь одну единственную, освободить ее от пыли и обнажить нам обоим.

Может, начать сразу, как обухом по голове:

- Скажи, Ирина, как ты представляешь себе Абсолют? Подумай и скажи.

Но я наверняка знаю, что она будет долго думать и ничего не скажет. А если и скажет, то какую-нибудь дежурную фразу из учебника по основам философии. Это будет похоже на разговор про погоду, только на сей раз мучаться от безъязычия будет она.

Господи, за что мне дан язык, не умеющий говорить просто?! Что же делать, Господи, ведь мы прошли уже половину пути, а время у нас не резиновое, оно мчит нас к остановке, где вновь оторвет ее от меня, такого скучного. Скука, глубокая скука от таких как я заставит ее вынуть блокнот и выбрать телефонный номер подруги, умеющей говорить человечно.

- Ты знаешь, я никому еще это не говорил, но я - инопланетянин.

Чтобы выиграть время, я выталкиваю из себя искусанным до крови языком дикую эту фразу. На какие только сложности не способен мой мозг. Я вижу, как Ирина невольно замедляет шаг, пропуская меня, ненормального, вперед. Она су удовольствием отстала бы от меня шагов на пятнадцать. Может, мне схватить телефонную трубку первым? Но кому же звонить? Если я погибну, она будет есть пельмени и ходить на панихиду затем, чтобы оценить качество моего гроба. Но это не меняет дела. Я должен спасти ее в любом случае, как бы она ко мне не относилась. В конце концов, я спасаю нас обоих.

Нет, вариант искупительной жертвы не подходит, ибо глупо стоять с телефонной трубкой у уха, никому не звоня. Это неестественно. А время, неумолимо стучащее в фарфоровых наших висках, неестественности не прощает, оно петляет по своим законам.

И вдруг я вспоминаю. Я припоминаю маленький эпизод нашего детства и тут же начинаю рассказывать его, поглядывая издали на расплывчатый профиль девушки, чтобы воскресить его, наконец, в памяти.

- Слушай, Ира, я только сейчас начинаю ценить наше детство. Тебе никогда не хотелось в него вернуться? Какие мы все были единые, одинаковые. Глупые я говорю слова, не правда ли? А тогда мы почти не говорили, - мы играли. Особенно не говорила ты, Помнишь, как ты сидела на лавочке и наблюдала за тем, как мы водили мяч по баскетбольному полю. Слова наши были просты и однозначны: игра, пас, первый, хороший, плохой... Сначала мы закидывали мяч в кольцо, потом нам надоело брать его в руки и баскетбол превратился в футбол - благо, нижняя часть щитов легко сходила за ворота. В футбол во дворе играли все - и мальчики, и девочки. Все, кроме тебя. А ты все сидела и смотрела. Не знаю, с интересом ли. И вдруг мяч, круто подпрыгнувший от чьей-то мускулистой ноги, врезался случайно тебе в лицо. Это был очень сильный удар. Но ты не вскрикнула. Ты только уронила голову на колени и некоторое время сидела так... Игру

смяло. Все девочки, а заодно и мальчики подошли тебя утешать. Все, кроме меня, потому что я не умел этого делать. К тому же, была еще одна причина. Честно говоря, я не понимал людей, не любивших играть в футбол. Поэтому я тебя просто не воспринимал. Ты была для меня как бы пустым местом на лавочке. Я даже мог присесть рядом, не заметив тебя. Да, я долго был такой. Очень долго. До сегодняшнего дня. А теперь я должен разбиться как старое зеркало и выстроить себя заново. Впрочем, хватит обо мне.

Так вот, когда ты, наконец, подняла голову, лицо у тебя было багровое, в белых пятнах, но без единой слезинки. Надо же, какая ты была мужественная, какая гордая. Помнишь, да?

А помнишь тот день, когда мы взобрались на абрикосовые деревья с зелеными еще плодами, а ты осталась стоять внизу с нашими стаканчиками с мороженым, которые мы вручили тебе на хранение? Мы перебрасывались едва вылупившимися абрикосами, а ты серьезно и углубленно смотрела на нас, высоко подняв голову. По раскрасневшимся твоим рукам текло ледяное молоко, но ты молчала.

- Персиками, - говорит Ирина.

- Что? - не понимаю я.

- Вы перебрасывались зелеными персиками.

- Ах, да! Персиками. Ну, конечно же персиками!

И тут я, наконец, вспоминаю ее лицо. Тесные густые брови. Глубоко посаженные зеленые глаза, глядящие прямо и просто, а в глубине их словно притаился за кроной низенького деревца ребенок - молчаливый, весь в мечтах и ожидании... У него тонкие бледные губы и крошечный подбородок, выпуклый, даже округлый какой-то лоб, но не нависающий над глазами, а наоборот, сдвинутый больше кверху, расширяющийся у волосистой части головы. Волосы жидкие, грязно-пшеничного цвета с неизменной по форме короткой стрижкой. Мясистое тело, особенно грудь и спина, в которой утонул позвоночник. А руки маленькие и в каждой каким-то чудом умещается по три стаканчика мороженого.

- А помнишь озеро? - продолжаю я горячо и свободно, зная, что мне удалось уже выкрасть ее, везучую, у безразличного времени. - Мы влезли в него в одежде по горло, а ты только по пояс. Смеясь, мы кричали: "Да окунись же ты целиком!". Но ты отказалась. Когда же мы шли к дому и сохли одновременно на солнце, ты была мокрой только снизу и кто-то бросил: "Вот человек, умеющий выходить из воды сухим." Глупая фраза, правда? Одна из бесчисленных глупостей, выдуманных нами позже.

И долго мы шли так с Ириной, замедлив шаг, совсем близко друг к другу, почти плечом к плечу, а когда подошли к остановке, то сразу подъехал автобус и мы в него сели. Быстро и в то же время степенно удалялись мы от места перекрестка, где мчались наперерез грузовику "Жигули", и где грузовик сворачивал на пустую телефонную будку, чтобы не задеть пассажиров под навесом. Через пять остановок я , попрощавшись с Ириной, сошел у книжного магазина. Я купил сборник японской поэзии, а потом зашел сначала в хлебный, а затем в овощной магазины. Там я купил горячий лаваш и капусту. От лаваша я оторвал приличный кусок и, никого не стесняясь, принялся с аппетитом его поглощать.

В автобусе я неторопливо раскрыл том японской поэзии и прочел несколько стихотворений. Они глубоко запали мне в душу. Особенно вот это:

При виде бутонов,
Что завтра раскрыться должны
На сливе близ дома,
Сосед мой весь вечер
Счастливую прячет улыбку.
(Окума Котомиси)

Сойдя на своей остановке, я нарочно посмотрел на место, где стояла недавно телефонная будка. Оно было пусто. Я улыбнулся. Навстречу шла бывшая моя соученица по параллельному классу в развевающемся на ветру бордовом платье. "Какое нарядное платье, - подумалось мне, - жаль, что я не умею делать комплименты".

- Слушай, ты не слышала тут ничего особенного? - спросил я, пряча улыбку.

- Слышала. Какой-то дебил наехал на пустую телефонную будку.

- Хорошо, что на пустую, не правда ли?

- Конечно, хорошо. Я хотела выйти на полчаса раньше и позвонить оттуда одной знакомой.

- Бог тебя спас.

- Не говори.

- Ну, я пошел?

- Иди.

Вышел сосед из лифта. Поздоровался и направился, спокойный, к своей машине.

Где я, во сне? Ирина погибла и я вижу сон про то, как она осталась жива? Или Ирина жива, а я вижу сон про то, как она погибла? Не знаю. И, наверное, никогда не узнаю и не пойму.

А в городе начинается гроза. Небо, будто сплошь затянутое волчьей шкурой, рвет с себя клочья шерсти и гулко швыряет в шарахающиеся на ветру деревья. *Каждому облачку, ставшему тучкой, хочется быть белым.* Никто не понимает, какая величественная на Земле погода. Заплывшее темными водами, ставшее грязью, небо истекает не мутной кровью, но чистыми, прозрачными каплями, свежими, как чайные розы, трогательными, как слезы детей. Небо не желает смазать детство серостью. Хорошо, что у него такое отходчивое сердце.

Перечитав написанное, Савельев лег на кушетку, закрыл глаза и... проснулся окончательно.

Проснувшись, он увидел темноту одеяла и сейчас же сдернул ее с лица. Было раннее утро и за окнами бушевала гроза. Набросив на плечи сорочку, он кинулся к балкону... В этой спешке Савельев успел поймать себя на ощущении, будто передвигается не он, а его хорошо отдохнувшее, пружинистое тело, настоящий же Савельев вымученно глядел на все это с фотографии в шкафу.

Перегнувшись за перила, он посмотрел далеко вбок и вниз, на балкон соседнего подъезда, где увидел руки Ирины, снимающие второпях вымокшее сиреневое платье. "Отличное платье, - подумал Савельев, лаская взглядом будничную бельевую веревку. Надо бы сделать Ирине комплимент. Хорошо бы встретить ее по дороге и поговорить. Жаль только, что не о чем."

1993-98гг

ЦВЕТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Миниатюра

Мне нравится исходящий от тебя свет. И грусть, и тепло. И тонкость.

И это дает мне ощущение выхода - в какое-то иное пространство - более высокое и возвышенное, более приемлемое для жизни. Это пространство существует над обыденным миром и в то же время незримо просачивается в мою привычную жизнь, одухотворяет ее, согревает.

Я выхожу на балкон и вижу высокие тополя и дорогу внизу, двор и других людей - привычный, знакомый с детства пейзаж.

Но он теперь тоже потерял свои привычные очертания - стал просветленным тем незримым светом, который исходит от тебя. Я вижу эти тополя как в утренней дымке.

Словно в моей жизни непрерывное утро, рассвет. Это не полдень с его жаром и страстями, а именно Утро.

В природе есть разные растения. Разные цветы и деревья.

Есть цветы - которые растут на клумбах в городских парках. Есть полевые цветы. И есть такие, какие растут немного в стороне от общей дороги. Чтобы их найти, надо выйти за черту городского парка, перейти поле с полевыми цветами и углубиться в лес. И там, в лесу, можно обнаружить поляну с такими цветами - лесными. Или найти одиноко растущий где-нибудь близ пригорка или сосны цветок.

Вот ты для меня - из породы таких лесных цветов.

Я бы назвала его Аленьким цветочком, но этот алый цвет как-то тебе не подходит. Я в красном тебя не вижу. Скорее - в бело-желто-голубом.

В переводе на обычный язык - можно сказать, что мне нравятся такие тонкие, светлые люди, которые могут вместить в эмоциональном смысле в себя целый мир. Мне нравится, когда они смотрят в мир и любят его своей возвышенной любовью, а я - смотрю в них. Мир я не очень люблю, мне его мешает любить моя критичность. И вот когда я встречаю таких людей, то тоже начинаю немного любить мир - через них, глядя на него их глазами.

Таким образом они в моих глазах мир оправдывают и просветляют.

И еще мне нравится твой максимализм. Мне всегда так хочется быть чем-то полезной для тебя. Так хочется что-то сделать для тебя - но это очень трудно.

2011г

АНГЕЛ!..

Посвящение друзьям

У нее спокойный характер. Бури и печали в ней есть, но это не постоянно, и она не шатка, ее не качает как на ветру, если только ее не вывести из себя совсем дурным с ней обращением.

Характер же удивительный. Никогда больше такого не встречала.

Человек начисто лишен всякой высказанной критичности и ироничности в адрес других людей. Ни малейшей язвительности, ни даже ироничности – в отношении к людям – нет и в помине. Никогда ни о ком не говорит плохо и никогда не жалуется на людей и обстоятельства. Не злопамятна. Очень терпелива. Очень деликатна. Может пожаловаться на себя саму – сказать, что почему-то не может понять себя в той или иной ситуации. Я даже не представляю, чтобы ее могло что-то огорчить в характере другого человека, если это не что-то явно отрицательное. То есть в ее присутствии человек может по полной быть собой (в пределах нравственно-допустимого) и – она все в нем принимает, ее ничего не напрягает, не раздражает. Поэтому создается атмосфера необычайного спокойствия и надежности – тебя ни за что не осуждают и в то же время во всем следуют за тобой, во всем поддерживают. И – отвечаешь тем же.

Все происходит на невербальном уровне. Никто не произносит ни одного слова о любви и дружбе. Этих разговоров НЕТ вообще. А атмосфера любви – ЕСТЬ. Ее просто чувствуют. Для того, чтобы быть вместе, вовсе не обязательно говорить. Или – можно говорить о чем угодно – хоть о летающих тарелках, хоть о внутреннем устройстве трактора – неважно о чем – важно, что сквозь слова течет Любовь.

Поэтому непонятно, как общаться с таким человеком, например, в виртуальном пространстве – которому не нужны слова? Вот как можно общаться в виртуальном пространстве НЕВЕРБАЛЬНО? Пока что я просто молча излучаю доброжелательность в ее направлении. И тогда – виртуальное пространство растворяется в чем-то большем – частью чего оно и является для двух или трех и более конкретных людей, связанных этой

неприметной лучистой энергией.

Короче, эта девушка совершенно обыкновенная. Такая обыкновенная, что… без претензий и напряжения – всегда находится за гранью обыденности.

Она всегда – вот такая высокая и возвышенная… Но не все это замечают.

Ангел!..

2013г

© Наталья Гвелесиани, 2025
ORCID: 0009-0006-7898-9156
https://orcid.org/0009-0006-7898-9156
DOI: 10.5281/zenodo.17667507
https://doi.org/10.5281/zenodo.17667507
© Наталья Гвелесиани, 2025.
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).